

# Дина Рубина

Она вошла, улыбаясь широкой клоунской улыбкой, шлем свисал на ремне со стига тонкого локтя, как корзинка с ягодами. Мгновенно стала командовать, спорить по экспозиции, перевесила три картины местами и при этом смеялась, смеялась – странная особа: ничег

## Несколько торопливых слов любви...



16+

# **Дина Ильинична Рубина**

## **Несколько торопливых слов любви (сборник)**

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=164019](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164019)*

*Несколько торопливых слов любви... (сборник): Эксмо; М.; 2021*

*ISBN 978-5-04-140427-7*

### **Аннотация**

«Она склонилась над столом и сразу ахнула... Даже на таких крошечных черно-белых заплатах, даже двигаясь и выгибаясь под выпуклым круглым стеклом, эти фотографии ее поразили. Все в них было: косой летящий снег, продрогшее пространство гранитных ступеней набережной, и гибельный шаг до кромки ледяной черной воды, и порывистая женщина в черном пальто и черной шляпе с удивительным, пойманным на лету горящим взглядом...

Она молчала и смотрела, смотрела...»

# Содержание

Несколько торопливых слов любви...	4
Область слепящего света	4
На долгом светофоре	14
Шарфик	20
В прямом эфире	32
Мастер-тарабука	42
Голос в метро	59
Заклятье	67
Бессонница	74
Двое на крыше	80
И когда она упала	84
Гобелен	88
Конец ознакомительного фрагмента.	91

# **Дина Рубина**

## **Несколько торопливых слов любви... (сборник)**

### **Несколько торопливых слов любви...**

#### **Область слепящего света**

Она опоздала к открытию международной конференции, о которой должна была дать материал в «Вестник университета». В зале было темно: докладчик показывал слайды, слева от светящегося экрана угадывался смутный силуэт, и голос бубнил – запинаящийся высокий голос легкого заики.

Когда глаза привыкли, она спустилась по боковому проходу к сцене и села в кресло второго ряда.

«Вот, опоздала... – думала она, безуспешно пытаясь вникнуть в какую-то схему на экране, – из выступлений на открытии можно было бы состряпать материал, теперь же придется высидеть несколько докладов вроде этой тягомотины. И где раздобыть программу, чтобы как-то ориентироваться в

темах и именах; кто, например, этот зануда?»

Показывая что-то на экране, докладчик слегка подался вправо, и в области света неожиданно возникло лицо, вернее, половина лица, всегда более выразительная, чем банальный фас: высокая скула, правильная дуга брови и одинокий, нацеленный прямо на нее, молящий о чем-то глаз. Несколько секунд рассеченное лицо персонажа мистерии качалось и смотрело, смотрело на нее с пристальной мольбой, затем отпрянуло и погасло...

Этот мгновенный блиц лунного полулица ослепил ее такой вспышкой любовной жалобы, словно ей вдруг показали из-за ширмы того, кого давно потеряла и ждать уже зареклась.

Она отшатнулась и слепыми руками стала ощупывать ручки кресла, будто надеялась ухватить смысл того, что с ней сейчас стряслось. И несколько минут пыталась унять потаенную дрожь колен, бормоча: «Да что это!.. Да что ж это, а?!», пока не поняла, что бессильна, что уже не имеет значения, кто он, чем занят, свободен или нет и куда исчезнет после того, как в зале зажжется свет.

Зажегся свет, объявили перерыв.

Он оказался невысоким неярким человеком средних лет. Все это не имело уже никакого значения, как и ее удивление по поводу его скромной внешности, столь отличной от того трагического полулика, что был предъявлен ей в темноте.

Она подошла туда, где его обступили, уточняя и dospo-

ривая по докладу, коллеги, задала спешно слепленный вопрос. Он рассеянно кивнул ей, договаривая что-то маленькому толстяку аспиранту, и вдруг резко оглянулся, ловя обреченным взглядом ее лицо. Она пошла к выходу, спиной чувствуя, как торопливо складывает он в папку материалы доклада, ссыпает слайды в пенал и бросается следом.

И с этой минуты все покатилося симфонической лавиной, сминающей, сметающей на своем пути их прошлые чувства, привязанности и любви – все то, чем набиты заплечные мешки всякой судьбы...

Он нагнал ее в фойе, у гардероба:

– Простите, н-не расслышал ваших...

– Не важно, я только хотела уточнить...

– Позвольте, я п-помогу вам пальто...

– Да не надо, спасибо, нет, постойте, там шарф в рукаве, шарф...

Ее растерянные руки, не попадающие в рукава поданного им пальто, и его беспризорные руки, неловко коснувшиеся (ах, простите! – обморочное оцепенение обоих) ее груди...

Если она не торопится, он мог бы ответить на ее вопрос о...

К сожалению, она торопится, очень, абсолютно неотложное дело: обещала сегодня матери исправить подтекающий кран на даче...

– Кран?! Да я сейчас же... Господи, какие п-пустяки! Я

мигом все устрою.

– А у вас есть?.. – (робко-счастливо).

– Время? Н-ну, сколько это займет?

– Да не меньше двух часов.

– Какие пустяки!

Затем – минут двадцать в тамбуре гремящей электрички: отрывистые, сквозь железнодорожный грохот, возгласы и его глаза с припухшими, словно калмыцкими веками – одуряюще близкие, когда его бросает к ней на стыках рельсов...

Далее – пятнадцатиминутный пробег по обледенелой поселковой дороге к заглохшей на зиму даче, возня с замком, не желающим сдаваться замерзшему ключу в ее пляшущих пальцах, и его прерывистое:

– П-позвольте уж мне... все ж, какой-никакой, мужчина...

Наконец замок побежден, дверь со скрипом отверзлась, они ввалились на застекленную веранду, где немедленно он обнял, как-то по-детски обхватил ее, судорожно всхлипнув...

Ну, и так далее...

Воспользуемся же хрипло задыхающейся паузой для краткой биографической справки.

Он: доктор наук, историк, специалист по хазарам, автор двух известных книг, женат, две дочери – семнадцати и двенадцати лет.

Она: журналист, автор сценариев двух никому не известных документальных фильмов, два неудачных брака, детей нет, сыта по горло, оставьте меня в покое...

И как подумаешь – что за радость в этих случайных всплесках незнакомых судеб, в мерзлых, не убранных с лета простынях на дачном топчане, в прикосновениях ледяных пальцев к горячему телу! В нашем возрасте от постельных сцен требуешь наличия по крайней мере приличной постели. Так ведь и простудиться недолго...

Кстати, бешеный подростковый озноб, сотрясавший обоих, был скорее температурного свойства. Выяснилось, что заболели оба – в те дни по Москве гулял заморский вирус.

– Горло сохнет, – сказал он, морщась, – где тут кран?

– На кухне...

Он поднялся, по-старушечьи накинув плед на плечи, побрел в кухню.

– Действительно, подтекает! – крикнул оттуда.

После чего кран был забыт навеки и подтекает, вероятно, до сих пор. Вернувшись, минут пять стоял в проеме двери, глядя, как она лежит в бисере пота, в области слепящего зимнего света, бьющего через окна веранды.

Когда спустя часа два наконец оделись и вышли, он сказал:

– Через неделю я уезжаю...



Они стояли на платформе в ожидании электрички. Поодаль прогуливалась пожилая тетка с линялой изжелта болонкой.

– А вернешься когда? – спросила она.

Он хотел ответить «никогда», и, в сущности, это было бы правдой. Но сказал:

– Н-не знаю. Может быть, через год... Я уезжаю всей семьей в Израиль.

Ну да, так она и предполагала.

Да ничего она не предполагала, какого черта! Все это обрушилось на нее сегодня утром, когда она вошла в темный конференц-зал и из-за ширмы судьбы ей показали карнавальное полулицо с прицельным глазом.

– Чему ты улыбаешься? – спросил он хмуро.

– А вон, ей... – сказала она, – даме с собачкой.

Неделю она провалялась с гриппом. Он, вероятно, тоже. Ну, вот и ладно, и хорошо, прощайте, мое славное приключение!

Когда, по ее расчетам, самолет Москва – Тель-Авив должен был уже набрать высоту, зазвонил телефон и его голос торопливо сказал:

– Я из Шереметьева, на м-минутку... Договорился с Юровским, тебя п-пригласят в декабре на конференцию в Иерусалим... Что?! – крикнул. – Н-не слышу! Что ты сказала?!

Тут связь оборвалась, и она заплакала – от счастья.

Спустя несколько недель она вывалилась в аэропорту Бен-Гурион – в расстегнутой дубленке, с мохнатой шапкой в руке – прямо в солнечный средиземноморский декабрь.

Он стоял отдельно от пестро-цыганской толпы встречающих – незнакомый, молодой, в джинсах и какой-то легкомысленной куртке. Стоял поодаль, подняв обе руки, словно сдавался неодолимой силе. И когда она приблизилась, медленно опустил руки ей на плечи, ощупывая их, как слепой.

В автобусе они постепенно вспомнили друг друга, он стал оживлен и, спохватываясь, показывал что-то в окне, что, по-видимому, было прекрасным и достойным восхищения, и несколько раз повторял, как все замечательно сложилось – и, главное, конференция именно в Иерусалиме, что позволило ему вырваться из Хайфы на все эти три дня...

– У меня доклад только завтра утром, – добавил он, – а дальше – тишина...

Она жадно смотрела в его шевелящиеся губы, словно боясь пропустить нечто главное, что он сейчас произнесет и тем самым спасет обоих навсегда.

В огромном холле роскошного отеля они получили у портье ключи от номера, затем троекратно отразились в зеркалах скоростного лифта два полуобморочных лица, и – на все три дня конференции с неизвестным для нас названием – мы оставим их, беспомощных владык друг друга, разглядывать крыши Иерусалима из-за штор отеля «Холидей-Инн», с вы-

соты двенадцатого этажа...

Лишь однажды он сказал, стоя у окна за ее спиной и наблюдая, как горная ночь по одной, словно свечи, задувает горящие отблеском солнца черепичные крыши:

– Этот город заслужил, чтобы его рассматривали не с такой высоты...

...И три дня спустя они опять стояли в аэропорту Бен-Гурион в ожидании контроля, очень здесь строгого.

– Там восемнадцать м-мороза! – говорил он. – Это безумие – такие перепады температур!

Она стала оправдываться, что иначе шеф ни за что не позволил бы отлучиться, только прицепившись к рутинной командировке, удалось так лихо зарулить сюда. И, бог даст, еще удастся. Когда-нибудь...

– Когда, например?

Никогда, вдруг поняла она. Но сказала легко:

– Ну... в марте, скажем... Или в апреле...

– В апреле здесь хамсины... – сказал он.

Уже ступив на эскалатор, она помахала своей растрепанной, как болонка, шапкой и что-то проговорила.

– Что?! Н-не слышу!

– Дама с собачкой!..

Ее уволокивал эскалатор – рука с шапкой, полы дубленки, сапожки...

Вознеслась...

Он взял в баре чашку кофе и плитку шоколада и, как бывало в юности после шальной и пьяной ночи, тут же ее жадно съел. Заказал еще сто граммов коньяку и, совершенно счастливый, сидел минут сорок на высоком неудобном стуле, пока его не потеснила очередь. «Как молодой...» – подумал он.

Поднялся и вышел.

Навстречу ему переходили дорогу три армянских священника под большим зонтом. Тот, что был посередине, коротенький и толстый, перешагивал через лужу, придерживая полу сутаны движением женщины, приподнимающей подол платья.

Всю дорогу до Хайфы и позже, когда, оттягивая возвращение домой, сделал пешком колоссальный крюк, чтобы постоять над заливом, над кранами и мачтами в порту, он пытался хотя бы мысленно собрать и отладить свою жизнь, взорванную и разнесенную в клочья тремя этими днями в поднебесном номере «Холидей-Инн».

И пока плелся к дому, поднимался по лестнице, открывал ключом дверь, все думал: что делать, что делать и как прожить хотя бы этот, первый вечер?..

В квартире было темно, только на кухне горел торшер зеленоватым подводным светом, пахло его любимыми творожниками, лилась вода и звякала посуда.

Он хлопнул дверью, чтобы как-то обозначить свое появление.

– Ну, наконец-то! Ты слышал, какой ужас? – крикнула из кухни жена. – Только что передали: над Черным морем взорвался самолет Тель-Авив – Новосибирск. Еще не знают причину – теракт или авария... Как представишь этих несчастных... их семьи... Костя, а разве наши могли прошляпить террориста?

Перед его глазами поплыл огненный шар их коротенькой высотной жизни, легко взмыл, завис в области слепящего света – и вспыхнул над морем...

Она выглянула из кухни во тьму комнаты, где муж по-прежнему стоял, почему-то не зажигая лампы, и сказала:

– Ну, если ты еще не переоделся, так вынеси мусор.

# На долгом светофоре

Впервые за много недель она – директор российского филиала крупной международной компании – возвращалась домой с работы засветло. Ехала нарядным центром Москвы, которую лет десять назад в усталой ненависти покинула навсегда, а теперь вот – судьба не копейка – жила здесь, работала и очень любила этот сквер с фонтаном, дугу набережной и горбатый Третьяковский мостик перед Лаврушинским.

День был мягкий, солнечный, с классической желтизной октябрьских деревьев.

«Надо чаще давать себе роздых, – думала она, – взять вот завтра мужа с сыном, поехать погулять... ну, хоть в Ботанический... или в Абрамцево...»

Сегодня ее не раздражал даже водитель Сережа, говорун и философ.

– В «Кулинарию» будем заезжать?

Машина остановилась на светофоре.

Здесь всегда приходилось долго пережидать поток автомобилей.

Она скользнула взглядом по сидящей в соседней белой «Ауди» юной паре и отвернулась. Но тотчас вновь оглянулась на этих двоих, словно ее позвали забытым родным голосом.

Он был настоящим красавцем: пропорции высокого лба и

полетная линия бровей, та, что сообщает мужскому лицу выражение рыцарского благородства, сочетались со слабо выраженным, трогательно детским подбородком.

Она не была красива. Но дивный контраст смоляных волос с праздничной синевой глубоко сидящих глаз приковывал к ее лицу любой встречный взгляд. При таких красках все остальное уже было неважным.

И эти двое в соседней машине ссорились. Он был в бешенстве – губы плясали, как у готового заплакать семиклассника, пальцы обеих рук на руле сжимались и разжимались. По минутно откидываясь к спинке кресла, он – это было заметно с первого взгляда – делал глубокие судорожные вдохи...

А она так заглядывала в глаза спутнику, так умоляла его о чем-то всей мимикой некрасивого прекрасного своего лица, легкой ладонью то накрывала его руку на руле, то отдергивала ее, как ошпарившись...

...Зажегся зеленый, «Ауди» рванула с места, Сережа опять задал какой-то вопрос...

Она сидела, унимая незалеченное сердце, металась в памяти, шарила вслепую по дальним углам – кого, кого напомнили ей эти двое? И вдруг поняла: ее саму, ее юность, ее первую любовь, завершившуюся таким нелепым, таким несчастным мимолетным браком.

...Они стали ссориться с первой минуты свадебного путешествия, когда поезд Москва – Таллин дернулся, катнулся

вперед-назад и наконец ринулся плавно набирать обороты.

Она закрыла дверь купе и обернулась к нему. Он стоял с белым от бешенства лицом.

– Ты... ты строишь глазки каждому встречному самцу! – наконец выдохнул он сквозь прыгающие губы. – Тебе важно нравится всем мужикам, даже таксисту, даже носильщику!

Она качнулась, как от пощечины, схватилась за лицо.

– Ты взбесился?! – пролепетала она. – Я сейчас... я выпрыгну из поезда, я... не намерена слушать эту гнусную чушь!

...Минут через десять вошедший за билетами пожилой проводник-эстонец обнаружил в купе двух заплаканных двенадцатилетних детей, обнявшихся с такой неистовой силой, словно через минуту им выпадало расстаться на всю жизнь. Столик был завален цветами, на полу валялись клочки порванных билетов. Проводник вспомнил, что этих птенчиков провожала небольшая толпа сияющих родственников, усмехнулся и аккуратно прикрыл дверь купе.

И в приморском курортном городке, где в мансарде сняли они крошечную комнату, продолжалась эта смертельная схватка, словно каждый из них с какой-то детской жестокостью пытался разъять любимую игрушку, чтобы разобраться: как она устроена, что заставляет ее плакать, например, и что там тикает внутри – настоящее ли сердце?

Комната принадлежала хозяйской дочери, повсюду были разложены пестрые тканые салфетки, над тахтой висела ги-



тара, поблескивающая на рассвете багряной верхней декой. Бывало, они случайно задевали ее, и тогда, потревоженная их страстью, она отзывалась в сонном доме удивленной печалью.

Бурные ночи сменялись ожесточенными дневными ссорами, несколько раз она убегала от него на вокзал, и в последнюю минуту он врывался в поезд и выволакивал ее на перрон, не давая вырваться из кольца худых своих рук. Плакал и был совершенно беззащитен. Как и она...

Детям не повезло: тяжелая и сильная любовь, та, что обычно выпадает битому жизнью, усмирному человеку, была выдана им не по возрасту, не по росту. Так новобранцев жестокий командир бросает на смертельный участок фронта, заранее зная, что те обречены...

И лето не клеилось, каждое утро дожило. В сумрачном городском парке, куда их заносила очередная ссора, стоял мощный запах можжевельника и сосен, и, когда она убегала от него, скрипя кроссовками по мокрому песку дорожек, сосны просыпали за шиворот целые каскады холодного дождя.

Каждый день оба они, истерзанные неподъемной этой любовью, силились выстоять. Вся суть и смысл их необъятных девятнадцатилетних жизней сосредоточились в маленькой комнате с гитарой, на которой никто из них не умел играть.

...Однажды они проснулись в мареве солнечных бликов. Сияло зеркало в медной раме, горела красноватыми стеклышками не замеченная до сих пор люстра. Оказалось, что в ясный день комната буквально затоплена светом. Отличное солнечное утро наконец воцарилось над прибалтийским побережьем, выгнало на пляжи озябших курортников, подсушило морскую гальку на берегу.

Они натянули одинаковые белые джинсы болгарского производства, купленные по случаю в ЦУМе перед поездкой, и вышли на волю. То ли скупое балтийское солнце так радовало их простуженные носы, то ли день такой выдался мирный, только они совсем не ссорились, ни на минуту, наоборот – каждый прохожий, каждая сценка, каждая физиономия вызывали их радостный гогот.

В облюбованном ими обычно пустом кафе на берегу моря сегодня было гораздо больше публики. Официанты вынесли на террасу, обращенную к пляжу, столы и стулья, и кое-кто из посетителей даже отважился заказать мороженое.

Они взяли по чашке кофе и булочке, сели на террасе у самых ступеней, спускающихся на пляж. Протяжная синяя горизонталь распаивалась отсюда в обе стороны. Море кипело колючими бликами, гомонило голосами чаек...

Несколько минут спустя на террасу поднялся старик. Кто-то им показывал его издали, этого опустившегося режиссера местного музыкального театра, с крысиной седой косицей под лысиной. Неделю назад дождь загнал их на музыкальный

спектакль «Хелло, Долли!», поставленный когда-то этим самым бомжеватым стариком.

– Здесь можно присесть? – спросил он, кивая на свободный стул за их столиком.

Они переглянулись, героически пытаясь не рассмеяться.

Старик сел, закурил сигарету. Скучающим взглядом смотрел на низкий горизонт с несущимися по холодной синеве облаками, на чайек, семенящих по песку у самой кромки воды, и вдруг, обернувшись, сказал с неожиданной силой:

– Ребята, вы такие красивые!.. И такие счастливые!.. Вы даже не подозреваете – какие вы счастливые!

Они вскочили как по команде и, не в силах уже сдерживать смех, сбегали по ступеням вниз, на пляж, где, обнявшись, захохотали наконец во весь голос и так, держась за руки, пошли по берегу, удаляясь от террасы кафе, на которой по-прежнему сидел старый человек, с влюбленной тоской следящий за двумя фигурками на берегу.

– ...Что?

– В «Кулинарию», говорю, будем заезжать?

– Да, пожалуй...

Она уже не видела белой «Ауди» впереди.

Перед ее глазами по берегу моря удалялись две фигурки в белом, то разбегаясь в стороны, то опять простирая друг к другу руки, словно через годы пытались докричаться, дотянуться, окликнуть друг друга...

# Шарфик

Позвонили из популярного журнала, попросили интервью – к тридцатилетию творческой деятельности.

Ну что ж, это было закономерно; правда, известная поэтесса отмечала не такой уж серьезный свой юбилей, «первый юбилей» – пятидесятилетие, но публиковать стихи она начала рано, давно приобрела имя – не из звездных и скандальных, а из тех, что зарабатываются годами труда, бесстрашной искренностью интонации и некой последовательностью судьбы.

На рубеже эпох, когда надломились и рассеялись многие имена, ее голос зазвучал с новой спокойной горечью и был услышан молодыми. Так что многие издания восторжествовали.

Итак, позвонили из популярного журнала, и она дала согласие встретиться и поговорить.

– Нина Аркадьевна, но журнал у нас роскошный, гляцевый, – продолжал журналист. – Нужна хорошая фотография.

– Приходите, покопаясь, – сказала она. – У меня этих фотографий – вагон и прицеп...

– А у нас, знаете, свой фотограф... Один из самых известных, может, слышали – Михайлов. Очень серьезный господин! Снимает исключительно на черно-белую пленку... Только это, конечно, займет дополнительное время...

Она испугалась, что вот, пропадет целый день, собралась

мягко отвести эту напасть, но журналист взмолился, стал доказывать, что надо, надо для хорошей публикации, и видно было, что ему не все равно, а значит, профессионал. Перед профессионалами же – в любом деле, будь то парикмахер, сантехник или высококлассный хирург, – она благоговела и чувствовала себя с ними абсолютно защищенной.

– Ну хорошо, бог с вами, – сдалась она. – Но ведь он станет мучить меня, я этого не люблю.

Парень оказался совершенно искренним.

– Конечно, станет! – воскликнул он почти радостно. – Обязательно будет мучить! Но потом вам останутся великолепные, редкие снимки – на все случаи жизни. Хоть в газету, хоть в книжку, хоть на стену в рамочку.

Так оно и получилось.

Само интервью прошло легко, как-то почтительно-приятельски: молодой человек оказался *добротным* и действительно вел себя как профессионал. Вопросы задавал толково и точно сформулированные, не банальные, острые, но не наглые, – говорить с ним было интересно и ненапряжно; к тому же был он из этого удивительного поколения совсем молодых людей, выросших уже в новое, *прямоговорящее* время, а ей всегда было странно и любопытно – что они находят в ее стихах...

Словом, за час управились и остались друг другом довольны.

Тут он спохватился, стал одеваться и пообещал, что вот-вот, минут через десять-пятнадцать, *они появятся*.

– Кто это – они? – спросила поэтесса.

– Ну, Михайлов и еще один, визажист...

– Кто-кто?!

Журналист смущенно и плутовски улыбнулся. Он уже стоял в дверях.

– Нина Аркадьевна, дорогая, но ведь если б я сразу сказал, что явится целая команда, вы бы меня и на порог не пустили?

– Конечно, не пустила бы! – возмутилась она.

– Вот видите, пришлось снагличать. Простите ради бога, и...

В дверь позвонили, на пороге стояли двое; произошла некоторая рокировка – журналист откланялся, а двое вошли... Вот не было печали!

Один – пожилой и угрюмый, – собственно, и был фотографом. Он молча расставлял какую-то треногу с козырьками, вешал лампы, протягивал провода к розеткам... Второй никем не был. Просто ходил, шатался по квартире, рассматривал книжные полки, фотографии на стенах и на письменном столе... Никуда не торопился. Это был высокий блондин лет двадцати семи, как-то по-особенному изысканно одетый. Ничего броского или экстравагантного на нем не было. Но вся блекло-серая гамма мягких вельветовых брюк, джемпера и рубашки с открытым воротом, щегольская клетчатая кепка, которую он положил на стул в прихожей, длинный тем-

но-вишневый шарф, оставшийся валяться на плечах, словно в изнеможении, неуловимо изобличали – тоже, как это ни странно, – профессионала.

У него была странная мимика нижней части лица. Вернее, просто необычного строения губы – припухлые и сложенные так, словно самих губ-то и нет, как будто он их вобрал в рот. Получалась какая-то постоянная глухая усмешка, не совсем уместная, – вроде он знает что-то особенное, чего пока не знает никто, и постоянно на это намекает.

– Витя, поищи-ка что-нибудь, – хрипло сказал фотограф Михайлов.

Она поняла, что эта тоска смертная надолго. Может, и весь вечер пропадет.

– У вас есть что-нибудь интересное? – спросил блондин Витя. – В смысле реквизита?

– У меня не театр, – сказала она. – Вы что имеете в виду?

– Ну... шляпы какие-нибудь, шарфы, шали... Надо вас задрапировать...

– Да вы что! – удивилась она. – Вы, наверное, спутали. Я не танцовщица.

– Вы – женщина! – возразил Витя и опять улыбнулся своей странной улыбкой.

Нина Аркадьевна пожала плечами, пошла в прихожую и принесла оттуда две широкополые шляпы – бежевую и черную. Бежевую они сразу отменили, когда же она надела черную, они ахнули – так ей шли широкополые черные шляпы (она

знала это и всегда покупала их себе в разных странах), – оживились, задвигались, потребовали и черное пальто, которое тоже оказалось в прихожей.

– Вот это уже что-то, кое-что... – промурлыкал Витя, цепко, мимо лица как-то, но всю целиком разглядывая ее, с этими поджатыми губами... – Шарфы?

Она покорно принесла из шифоньера в спальне разноцветные шарфы. Блондин выхватил все, стал ловко разбрасывать их на руках, раскидывать, вязать узлы на концах... Накинул ярко-алый шарф на ее плечи поверх пальто и сам остался в восторге...

– Витя! – гаркнул вдруг Михайлов. И застыл, оцепенело глядя в окно. Там впервые за эту осень падал мокрый снег. – Скорее! Хватай ее, хватай все, помчались на набережную!

И пока они под руки сволакивали обалдевшую поэтессу по лестнице вниз, пока заводили машину и ехали, Михайлов повторял:

– Ай-яй-яй, какая удача, а?! А я ж вчера погоду слушал-слушал, ждал, как маму родную, а они ни словом, ни словом!..

Мокрый косой снег летел все пуще, лепил на ветровое стекло автомобиля нашлепки, как жвачку выплевывал... Нина Аркадьевна мысленно проклинала идиотский вечер, интервью, нахальную парочку, но, как выяснилось, это было только началом...



Они выволокли ее из машины, блондин стал вытворять что-то немыслимое: мять ее шляпу, нахлобучивать как-то вперед и на лоб, своевольно, как на бесчувственный манекен, повязывать шарф... Затем ей велели пальто расстегнуть и бежать под снегом вниз, по гранитным ступеням к воде. Михайлов стоял наверху, жадно щелкал фотоаппаратом, как из пулемета.

– Ко мне! – кричал он. – Бегите ко мне вверх по лестнице!

– Да скользко же! – восклицала она жалобно. – Я на кабелях, упаду!

– Бегите!!! – сатанея, кричал этот классный фотограф, расстреливая ее из аппарата. – Теперь вниз, к воде! Что вы остановились?! Я сказал: к воде, к самой воде!!!

– Я упаду в реку!

– Стоять!!! На меня!!! Еще! Отвернулась!!! Резко повернулась!!! Еще!!! Вверх, на меня! Еще!!! Побежала вверх, на ходу надевая перчатки!

Блондин в это время стоял с непокрытой головой наверху рядом с Михайловым, улыбался... Снег летел, на ходу хлеща лицо густыми плевками, влажно и тяжело лежал на обвисших полях шляпы...

Вода в Москве-реке была на вид свинцовой, губительной, могильной.

Наконец Михайлов, весь мокрый и возбужденный, командовал возвращаться.

Они приехали домой – озябшие и уставшие, как собаки. Еще пощелкали ее под зонтиком возле подъезда, но все это уже было – так, на всякий случай. А главное было – там, на набережной, на скользких ступенях у кромки воды, где она резко взмахнула полрой пальто, подняв голову вверх... И все они это знали.

Она включила чайник, нарезала колбасу и сыр на бутерброды, и минут десять они втроем молча жевали, отогреваясь.

– Как бригада лесорубов после смены, – сказала она. И они устало засмеялись...

Михайлов потом разговорился, рассказывал про свои выступления в Берлине и Париже. Как он снимал артистов Большого – за кулисами, после спектакля, взмыленных и изможденных... Видно было, что он доволен этим вечером. Доволен.

Она же стала ждать фотографий. Не интервью – там все было ясно, сотни раз проговорено в разных вариантах, ведь при всей изобретательности и разнообразии мыслей жизнь-то у нас, поди, одна, другую биографию себе не изобретешь. А вот фотографии ее интриговали.

Наконец через неделю позвонили.

– Нина Аркадьевна? – Она не сразу узнала этот голос – негромкий, с ленцой. – Мы сегодня получили контрольки... Там много чего, надо бы выбрать. Я мог бы зайти к вам ве-

чером, показать... Как, будет у вас настроение?

Они договорились на восемь, ровно в восемь он и позвонил в дверь, и это ей понравилось – она терпеть не могла временной расхлябанности. Он опять был в чем-то неброско элегантно, неуловимо стильно. «Голубой», – с непонятным огорчением решила она.

Витя – кажется, в прошлый раз его звали Витей? – открыл портфель и достал лупу и несколько больших листов, разбитых на множество маленьких квадратики. Это и были контрольки. Она склонилась над столом и сразу ахнула... Даже на таких крошечных черно-белых заплатках, даже двигаясь и выгибаясь под выпуклым круглым стеклом, эти фотографии ее поразили. Все в них было: косой летящий снег, продрогшее пространство гранитных ступеней набережной, и гибельный шаг до кромки ледяной черной воды, и порывистая женщина в черном пальто и черной шляпе с удивительным, пойманным на лету горящим взглядом...

Она молчала и смотрела, смотрела...

– Ну? – спросил он, улыбаясь. – Так вот вы какая, поэт...

– Витя... – проговорила она тихо, потрясенно. – Я просто... я не знаю! Передайте Михайлову... Да нет, конечно, я сама ему буду звонить! Но я... Вы сказали, что надо выбрать? А я не могу! Я все, все их выбираю!

– Да, Михайлов – молодец, – согласился Витя. – Он, кстати, тоже доволен. Хочет одну из фотографий – вот эту, у воды, с летящей полрой пальто, – сделать плакатом на своей

осенней выставке в Женеве. Но, знаете, все мы – молодцы. И вы-то уж точно молодец, все безропотно вынесли! А я разве нет? Смотрите, какие летящие шарфы я вам навязал, они же совсем живые, видите?

– Да! Да! – охотно и благодарно откликнулась Нина Аркадьевна. – Да садитесь же, Витя, голубчик! Я вам кофе сварю.

Она поставила на огонь джезvu, спросила:

– А где, кстати, вы так настропалились драпировать простых смертных баб?

Он усмехнулся своей плотной, закрытой улыбкой...

– О, это давно... – сказал он, – у меня когда-то была девушка, корейнка. Она вбила себе в голову, что у нее некрасивые ключицы... И поэтому всегда повязывала, накидывала, накручивала на шею и плечи шарфы и косынки. Она вытворяла с ними черт знает что – вязала узлы, косицы, закидывала на плечи в самых невероятных сочетаниях цветов, закалывала брошкой... Она входила, и за ней вечно тянулись какие-то шлейфы, вихри, тайфуны. Вот от нее я научился – видно, была некая предрасположенность к бутафорским забавам. Выросло потом в профессию... затянуло...

– А девушка?

Он не сразу ответил, может, потому, что с явным удовольствием смаковал глоточками густой вкусный кофе... Показал бровями на чашечку, одобрительно почмокал, отпил еще глоток.

– ...Она уехала в Париж, и по всему дому у меня долго

валялись, свисали с полок и вешалок, в самых неожиданных местах развевались эти невесомые шарфики и косынки.

– Почему она уехала?

– Потому что я не держал ее, и она это чувствовала. Мы вообще были друзьями, и были абсолютно друг от друга свободны. Просто жили вместе, зная, что каждый может уйти, когда вздумается... Бывало, она возвращалась под утро, или я уходил и пропадал по три дня. Так у нас было заведено, и никому в голову не могло прийти требовать отчета – где и с кем другой проводит время.

– Вы любили ее? – мельком бросив на Витю взгляд, спросила, доливая ему кофе в чашку, поэтесса.

Он помолчал.

– Не знаю... тут другое... как бы это объяснить... Это вот точно так, как ты знаешь, что на верхней полке книжного шкафа нужно вытереть пыль. Ее надо вытереть, и ты это знаешь, но есть ведь дела и поважнее. Проходит день за днем, тебя уже раздражает то, что надо вытереть пыль. И вот ты наконец ставишь стул, берешь тряпку, влезаешь на стул, чтобы вытереть пыль... И вдруг обнаруживаешь цветок в горшке, о котором совсем забыл, забыл его поливать, а он взял и умер... Понимаете?

Он посмотрел на нее прямо и вопросительно.

– Она вообще была забавным созданием, из совершенно иного, чем я, теста. Я человек осторожный и умеренный во всем. Абсолютный комильфо. Никаких эскапад. Моя про-

фессия – самое оригинальное, что во мне есть. Да и та, как вы могли заметить, втиснута в рамки строгого вкуса. А вот она, та моя девушка... Например, она прыгала с парашютом. Вот что меня еще в ней пугало. Я даже самолетов боюсь. Иногда просыпался ночью и смотрел на нее... Не мог постичь психологию человека, который не только находит в себе силы еще и еще раз подняться в воздух, но и встать на пороге раскрытой двери на безумной, туманной высоте и шагнуть в белесое ничто! Шагнуть!!! Иногда ночью я ощупывал ее плечо и думал: она летела... она сегодня летала... на такой высоте, она была в облаках!!! И не мог, не мог этого постичь!.. Иногда она казалась мне фантомом: эти раскосые миндалевидные глаза, темные густые брови и вечно скользящие тени на лице от всех этих шарфиков, шалей-вуалей...

Он допил кофе, стал складывать в портфель листы с контрольными снимками.

– Погодите! – спохватился он. – А все-таки какой снимок вы выбираете для интервью?

Они опять вместе склонились над столом. Он подал ей лупу... Опять заскользили под увеличительным стеклом ее летящий шарф вдоль гибельной воды, беспомощный взмах руки, старающейся удержать на голове черную шляпу в крапинах снега.

– Этот все-таки? Я так и думал...

И стал собираться. Тщательно повязал темно-вишневый шарф, надел строгое длинное пальто, снял с полки в прихо-

жей свое элегантное английское кепи.

Нина Аркадьевна стояла рядом и внимательно смотрела, как он одевается.

– А сейчас? – спросила она вдруг. – С кем она, если не с вами, Витя?

Он усмехнулся (эта странная линия губ, уже сложенных в улыбку):

– Сейчас?.. Сейчас она, поди, с ангелами соревнуется – кто дальше прыгнет с облака...

– То есть?!

– Эти парашюты, видите ли, имеют обыкновение иногда... Она просто запуталась в своем последнем шарфике... – Он помедлил и сказал невпопад: – Говорят, разница между любовью южан и северян – знаете в чем? На Юге любят тех, с кем спят. А на Севере – спят с теми, кого любят...

И опять его плотно замкнутая улыбка показалась ей не то чтобы кощунственной, но неуместной.

Он надел щегольское свое кепи, поцеловал ей руку и вышел.

## В прямом эфире

Эта политическая передача всегда вызывала шквал звонков от радиослушателей. Гена Котляр был опытным шоуменом – резким, парирующим довод оппонента мгновенным и убедительным контрдоводом. Он провоцировал гостей студии на такие откровения, о которых потом им приходилось жалеть. Он придумывал настолько острые темы для своего еженедельного ток-шоу, устраивая в эфире настоящую свалку, что несколько раз дирекция радиовещания на русском языке порывалась задушить эту годовалую передачу в колыбели.

Когда Гена позвонил и пригласил меня в студию, я, обычно уклоняющаяся от любых политических увеселений, не устояла.

И на сей раз ток-шоу превратилось в побоище. Мы с Геной напоминали двоих, дерущихся спиной к спине с бандой, напавшей в подворотне. Хотя Гена и сам гениально затевал все драки. Да и тема была болезненная: права неевреев в Израиле.

– К сожалению, время наше истекает, – профессиональной скороговоркой побежал Гена. – Итак, последний звонок! И очень коротко, пожалуйста!

– Я коротко, – сказал прокуренный женский голос пожилого тембра. – Почему общественность и правительство не



реагируют на то, что в страну приезжает много гоев?

Мы с Геной переглянулись, и он сразу подхватил:

– А вот эта тема и станет главной в нашей следующей передаче. Прошу всех, кто с сочувствием или возмущением выслушал вопрос нашей радиослушательницы, – простите, ваше имя?..

– Мария...

– ...выслушал своеобразный вопрос Марии и хочет подискутировать на эту тему, выйти с нами на связь в следующий четверг, как обычно, в двенадцать ноль-ноль...

Он сделал отмашку звукооператору – тот пустил меланхоличную музыкальную заставку, – глотнул воды из стакана и сказал:

– Гои здесь ей мешают, старой бляди...

Когда мы вышли из студии, выяснилось, что звонившая только что старуха оставила для меня свой телефон и очень – было подчеркнуто в записке – просит позвонить.

– Еще чего! – буркнула я и смяла записку. Поискав глазами урну и не найдя ее, машинально опустила комочек бумаги в карман плаща.

Но весь этот забитый делами и встречами день была раздражена и рассержена на себя, на Гену – что не ответили прямо в эфире, получается, что уклонились, перенесли разговор на неделю, а это всегда расхолаживает. Думала даже: не напросье ли к Гене на следующую передачу? И вечером

не могла работать, ходила, бормотала, репетировала – непонятно для кого и перед кем – гневную отповедь. Наконец пошла искать по карманам плаща мятый шарик записки, нашла, разгладила и села в кресло у телефона.

Она обрадовалась моему звонку страшно – благодарила, разволновалась, заплакала... И на меня обрушилась короткая и бурная, как ливень в горах, жизнь, любовь и неудавшаяся смерть этой двадцатилетней женщины.

Я не прерывала, не могла прервать, не смела: литераторам знакома эта охотничья – как ни грешно это – окаменелость азарта, неподвижное напряжение рыбака, высидевшего хороший клев.

– Я в Киеве родилась – вы представляете, что это такое, нет? Это оголтелый извечный антисемитизм учителей, учеников, ребят во дворе... А я еще и нерадивая была, особенно по чистописанию, почерк был ужасный... Все переписывала, переписывала каракули. На букве «з», помню, достаралась: все ж таки, получила пятерку...

Потом отца посадили за экономические нарушения. Вроде кто-то подставил его там, на предприятии, я не знаю, маленькая была, а потом про это в семье не больно-то распространялись. Засудили на семь лет, он шел по этапу в Усть-Кутский район. На этапе с него сняли туфли, шел в тапочках.

Ну а потом мы с матерью к нему приехали и жили там несколько лет. Я выросла в тех краях, среди зэков, знаете

ли. И даже любила тамошнюю жизнь. Кстати, зэки гораздо честнее, чем комсомольцы-добровольцы, стройотрядники эти, что приезжают заколачивать рубль. До их приездов мы зимами всегда вывешивали авоськи с продуктами за окно.

Но я не к тому... Господи, вот вы позвонили, а я так волнуюсь, черт-те что несу! Только не бросайте трубку, ладно, даже если вам совсем не нравится, что я говорю, ладно? Можно, я сигарету возьму? Минутку?

– Идите, идите...

Она вернулась быстро, я слышала, как щелкнула зажигалка, как шумно, вкусно она затянулась...

– Ну, отец там хорошо работал, был ударником, то-се... ему скостили срок, мы вернулись в Киев... Вот вас, конечно, шокировал мой звонок, мой вопрос. Вы – писатель, гуманист, либерал, да?.. Нет, погодите, вы слушайте! Вы представить себе не можете, как я страдала, будучи ребенком, подростком... Я верю, есть люди, которые переносят это гораздо легче. Ну, привычнее, что ли. Не знаю – может, для этого мудрость какая нужна, смирение. А у меня – как услышу вот это самое... ну, оскорбление по нации, – у меня не то что кровь в голову бросается – я вся, вся закипаю, дурею, как бешеный пьяный заяц! Несколько раз в такие драки ввязывалась – не дай бог! – меня милиция увозила...

Я от отчаяния, знаете, даже креститься хотела – думала, буду как они все, может, ослабнет в них эта ненависть...

Правда, хотела креститься! Но Бог наш не допустил. Один раз церковь была закрыта, в другой раз подвернула ногу прямо на пороге храма.

Ну а потом я истошно влюбилась, не на жизнь, а на смерть, и мне уже ни до Бога, ни до черта дела не стало...

Он был приятель отца, гораздо старше меня, взрослый человек – семья, двое детей. Боялся идти со мной до последнего – отца, я так думаю, боялся... Но вот душонку мою полудетскую помотал, покуражился. Знаете, есть такие мужики – страшно хотят девочкам нравиться. Чуть-чуть пофлиртовать, так, с высоты своего умудренного возраста, влюбить в себя, поиграть маленько с полубомбочной от любви мышкой... Взять в ладони личико, аккуратно поцеловать в лобик... Пригласить в кафе и отчитывать, что девочка в институт не готовится, не за-ни-ма-ет-ся. Это очень их бодрит, дает импульс, разнообразит будни. Ну а я его и сейчас люблю, и до конца жизни любить буду...

Мне ведь едва семнадцать исполнилось, когда я с собой кончала – выбросилась из окна. Четвертый, знаете ли, этаж. Не вру.

– Но?..

– Можете представить, упала на куст сирени. Только обе ноги переломала, а так даже позвоночник цел... Перед тем как сигануть, позвонила в «Скорую», чтоб все пути отрезать. Сама себя стыдилась. «Але, – говорю, – «Скорая»? Тут какая-то девчонка на асфальте лежит, наверное, выки-

нулась», – адрес продиктовала – и к окну.

– А вы помните, как летели? – жадно спросила я. Не удержалась.

– Помню, конечно, – сказала она просто.

– Страшно было?

– Лететь? Нет, лететь не страшно. Страшно на подоконник сесть, ноги вниз свесить... и вот это последнее усилие – рывком вперед... А лететь... нет, лететь уже не страшно.

Это потом тошно, в больнице, – когда на тебя из соседних палат разный калечный люд поглазеть приползает. Тошно, когда тот, из-за кого ты ветер обнимала, ни разу не пришел навестить, а когда вышла из больницы и приковыляла к нему на работу, на костылях-то, – ух как он струсил! – весь пятнами пошел и трусцой – на другую сторону улицы! А я совсем себя потеряла, пыталась догнать его – на костылях! И дико вслед хохотала...

И вот тогда я решила: если не с ним, то все равно с кем! Ну и, как с костылей слезла, в такой загул ушла, ужасающий, темный, что от меня не только родители, подруги – от меня черти отвернулись...

И так года три я мотылялась везде, куда нелегкая меня заносила, все перепробовала, стала болячкой родителей, притчей во языцех, мной соседи маленьких дочек стращали... Когда сама себе омерзела, решила репатриироваться... Разрешите, если не брежете этим разговором, я сигарку опять

возьму, а?

Через минуту пришла, попыхивая, продолжала говорить все быстрее, грубее, откровеннее:

– Приехала сюда, попала в кибуц на севере... Хороший кибуц, симпатичные простые люди... Поначалу держалась, учила язык, по утрам работала. Потом однажды напилась с тоски, и все пошло по новой – блядство, пьянки, марихуана... Ну, скажите – кто это должен терпеть? Конечно, в конце концов меня выгнали из кибуца – за какую-то очередную драку с моим тогдашним сожителем...

Помню утро: стою на дороге, ловлю попутку – деваться мне некуда, кроме как добираться в Тель-Авив, в министерство абсорбции. Первым остановился один типичный «дос» на «Фольксвагене». И – с ходу, едва отъехали, стал запускать лапу куда его не просили. Я и выдала все, что о нем, поганце, думаю. Он немедленно остановил тачку и выпихнул меня на шоссе... Интересно, что потом он оказался нашим соседом по подъезду. В нашем поселении, я – как вы, наверное, поняли по номеру телефона – живу в поселении под Иерусалимом. Да, соседка... Приветливый, вежливый. Жена такая квелая, пятеро детей...

– И как же вы общаетесь?

– Ну что вы, он же меня не узнал! Меня узнать невозможно: я – религиозная женщина, в парике, в надлежащем прикиде. Так на чем я?.. Ах да – дорога, зимнее утро, холод со-

бачий. Я в короткой юбочке и кофточке... Вторым попался пожилой марокканец, который начал с того же. И я что-то, знаете – замерзла, что ли? – расплакалась: ну, думаю, во что я превратилась, если при взгляде на меня у мужиков только одна мысль и возникает. И говорю ему: «А если б твоей дочери такое предложили? Если б она вот так, чужая всем, голодная, без копейки денег, зависела на дороге от доброй воли проезжего кобеля?..» Тогда он, знаете, изменился в лице, остановил машину у придорожного ларька, купил мне питу с фалафелем, довез до самого министерства и напоследок сунул в руку мятую двадцатку... Знаете, у этих простых восточных людей гораздо мягче сердце, чем у нас.

...Ну, не буду я морочить вам голову своими дальнейшими похождениями – они вполне омерзительны.

В конце концов я узнала, что где-то у хабадников можно приткнуться в таком их общежитии, что ли, нечто вроде ешивы для девушек. Но, конечно, без комедии с униформой не обойтись – знаете, эти платья с длинными рукавами в самую жару, эти черные колготки в июле... Пришла я, значит, стою на лестничной площадке четвертого этажа у них там, где мне разъясняют условия приема, и думаю: да ладно, что мне, впервой прикинуться ради крыши над головой да нормальной еды! И как только вот этими самыми гнусными словами подумала, тут же ноги у меня подкосились, и я покати-лась по лестнице вниз, чуть не до первого этажа.

– Споткнулась?

– Да нет... Это мне дали понять, что я последнее терпение вычерпала, и дальше чтоб, мол, не обижалась. Ну, я все правильно обычно понимаю.

Во-от... и знаете, стала я там тихонько жить, учиться... Очень всех сторонилась поначалу, потом немного отошла... Вижу, девчонки и эти... училки их, вроде не брезгуют мной, а ведь я так по-садистки сразу все им о себе рассказала! Нет, вижу: не брезгуют... И в конце концов, поняла, что только эти люди, которым все обо мне известно, только они приняли меня всем сердцем, несмотря ни на что, и любят меня, и... это единственное место и единственная часть общества, где меня готовы принять такой, какая я есть. Прошло еще полгода, и я сказала: сватайте меня...

Она помолчала мгновение и легко проговорила:

– Вот, собственно, и все... Муж у меня очень хороший человек, программист, умница, так что все у меня отлично. Вот и живем...

– Он из религиозной семьи? – спросила я.

– Да нет, он... Он, понимаете, своеобразный человек... Полурусский, полуяпонец. Прошел гиюр, стал евреем.

Я вспомнила, по какому поводу ей позвонила, вспомнила дурацкий ее вопрос в прямом эфире. Дурацкий – на фоне всей ее жизни.

– А сколько у вас детей?

– Трое с половиной, – сказала она. – Четвертый родится через пять месяцев.



Собственно, разговор был исчерпан, история кончена, листок, лежащий передо мною на телефонном столике, исчеркан беглыми закорючками... Надо было прощаться. Я стала говорить какие-то слова, которые, как мне казалось, она должна была от меня услышать. Но она перебила.

– Все у меня в порядке, – повторила задумчиво. – Все у меня хорошо... Хороший муж, спокойный, мягкий, добрый человек... Только, конечно, никогда не смогу я его полюбить.

– Почему?! – воскликнула я, потрясенная упрямством этой несмирной женщины.

– Душа чужая... – проговорила она хрипатым, старческим своим голосом. – Душа-то чужая...

# Мастер-тарабука

К открытию выставки все уже было готово. Он сидел в галерее, пил с Шерманом холодное пиво, принесенное из соседней забегаловки, и оглядывал картины на стенах.

Это была первая его серьезная выставка в стране. Прошел год после приезда – целый год, в течение которого он болтался по городам в поисках работы, по галереям в попытках заинтересовать хозяев своими картинами, по кибуцам и сельскохозяйственным кооперативам, стараясь получить заказы на раскрашивание водонапорных башен.

Наконец Шерман дал согласие выставить его работы к празднику Суккот на целых две недели. Время было хорошее, осеннее, туристическое – Митя строил планы и ждал от этой выставки некоего поворота судьбы.

– Осталось последнее, – сказал Шерман, прихлебывая пиво и отирая толстой пятерней пену с усов. – Сейчас приедет специалист по освещению... Я люблю, чтобы всем занимались профессионалы, – сказал он, помолчав.

Казалось странным, что у этой пивной бочки, обсиженной бородавками, одна из самых эстетских и дорогих галерей в стране.

– Я не как некоторые: повесил картины, и будь что будет, – добавил он. – Последнее слово в экспозиции у меня говорит специалист по освещению.

Тут раздался грохот, и в витрину галереи чуть не влетел мотоцикл. Юноша, примчавший на нем – необычайно хрупкий рядом со своим блестящим черным быком, – снял шлем, тряхнул гривой волос и оказался девушкой. Это и был специалист по освещению.

Она вошла, улыбаясь широкой клоунской улыбкой, шлем свисал на ремне со сгиба тонкого локтя, как корзинка с ягодами. Мгновенно стала командовать, спорить по экспозиции, перевесила три картины местами и при этом смеялась, смеялась – странная особа: ничего смешного Митя во всем этом не находил. Но была она очень хороша, впоследствии выяснилось, откуда в ней странное сочетание восточной отрешенности и западной деловитости. Восточный «крой» внешности – длинные брови на узком смуглом лице и особенное, стремительное изящество походки – она заимствовала от отца, иракского еврея, прибывшего в страну в конце пятидесятых годов. Прозрачные, чуть выпуклые серые глаза с россыпью золотых крапинок на радужке были материнскими. Ее мать вывезли перед войной из Германии в Палестину дальновидные и богатые родители. Эта взрывчатая смесь породила пятерых шумных, резких в движениях, обуйных страстью к мгновенному переключению жизненных скоростей, горластых детей обоего пола. Семья содержала два больших магазина электротоваров – в Тель-Авиве и Яффо – и фирму по установке освещения разных объектов. Впрочем, все это выяснилось позже.

Несколько споткнувшихся друг о друга взглядов, две-три фразы (исключительно по делу – она действительно была классным специалистом: где-то убрала свет, где-то направила его на картину, где-то приглушила, где-то вдруг осветила пустой угол с одинокой плетеной корзиной... – и экспозиция выставки мгновенно приобрела респектабельный, неуловимо западный, *дорогой* вид), клоунские складочки вокруг ее всегда смеющегося рта, точные и плавные взлеты-движения рук, унизанных дешевыми серебряными браслетами, какими гроздьями торгуют арабы на «шук пишпишм», блошином рынке в Яффо, и, главное, его, Мити, неожиданное и не свойственное ему с женщинами смущение – словом, минут через двадцать поняли оба, что влипли.

Так началась эта легкая, забавная связь...

В то время он за гроши снимал мастерскую в старом арабском доме в районе Яффского порта, неподалеку от «шук пишпишим» – крикливого, пестрого, знойного, пропахшего корицей и кориандром, маслами и марихуаной, пропитанного затхлыми запахами старых вещей, свезенных сюда эмигрантами разных стран и эпох, мерцающего из тьмы глубоких лавок зеленоватой медью блошиного рынка, расплзшегося разлапистым крабом по дюжине окрестных улиц и переулков.

Железные, крашенные синей краской ставни высоких

мавританских окон, после полудня защищали комнату от прямых лучей палящего солнца.

Она приходила часам к трем, легкой узкой ладонью выбивала дробь по разошедшейся двери, он открывал, они обнимались и, проковыляв так несколько шагов, валились на ощупь на широкий деревянный топчан, застланный пестрым восточным покрывалом, купленным по дешевке тут же, на блошином рынке.

...Она была серьезно занята в семейном бизнесе, но, кроме того, мастерила замысловатые украшения из бусин старого тусклого коралла, меди и серебра; лепила из глины и обжигала потешные фигурки танцующих евреев, которые быстро распродавались в дорогих туристических галереях в Яффо; писала стихи и – потрясающе играла на тамбурине.

Это выяснилось в первый же день, когда, поблескивая в полутьме то влажной от пота спиной, то узким плечом, вдруг открывающим белое полукружье груди, она прохаживалась, осваиваясь в его мастерской. И увидела на полке, среди стеклянных банок, кистей, бутылок с лаком, тамбуринов, купленный Митей по случаю здесь же, на блошином рынке.

– О, тарабука!

Немедля уселась на стул так, как садилась на мотоцикл, тонкими коленями обхватила бочонок с натянутой на него пергаментно-сухой кожей и легким хлопком сложенных пальцев извлекла одинокий звук – пустынный и глухой. Этот

тянувший душу оклик древнего пастуха несколько мгновений таял между ними...

Вдруг дробь переката – с запястья на ладонь – рассыпалась по мастерской, как рассыпается по склону горы стадо овец; монотонно и упруго бормотали обе руки на натянутой коже, вперебивку, легкими звонкими шлепками ладоней одна за другой; затем, на подкладке нежного гула, который она создавала трепетанием пальцев левой руки, правая стала плести сложнейшие рваные ритмы; рука металась, билась, как бабочка в сачке, сновала рыбкой, зависала, вытягивая из шкуры невидимые нити замирающего звука, и в тот самый миг, когда он угасал, гулкий и ровный набат колокола вновь распахивал кулису пустыни, за которой обрушивался грохот волн о дамбу, а следом пробегало стадо степных скакунов и запоздало, робко – скакали копытца заблудившегося жеребенка...

Приподнявшись на локте, он зачарованно смотрел на голого божка с тамбурином в коленях. В полутьме она была похожа на мальчика-подростка. Несколько тонких солнечных лезвий от ставен пересекали ее плечи и грудь. Выпуклые серо-золотые глаза стрекозы смотрели сквозь него, руки продолжали изнурительную пляску. Нежный рокот, любовный морок-бормот плыл по сумеречной прохладе мастерской...

– Где ты научилась?! – спросил он, когда она опустила обе ладони на тамбурин, словно успокаивая разгоряченного ко-

ня.

– Митья, ты имеешь Мастер-тарабуку! – сказала она, подняв палец и важно улыбаясь.

(Позже обмолвилась, что игре на этом инструменте обучил ее дядя, младший брат отца, тот, что в юности в Багдаде несколько лет сопровождал игрой на тамбурине выступления самой непревзойденной Надьи – знаменитой танцовщицы, на чей танец живота съезжались любоваться богатеи «со всего Бовеля».)

...Крики чаек в порту долетали до окон мастерской. И часто им вторила дробь и синкопические гулкие удары.

Бывало, она пальцами и ладонями выколачивала на Митиной спине сложные ритмы, изображая губами и горлом звуки тамбурина. Это было щекотно и смешно. Никогда и ни с кем до того он так заразительно и много не хохотал в постели.

– Смешно? – спрашивала она после каждого взрыва хохота. – Правда смешно?

И он отвечал:

– Обхохочешься...

Они виделись чуть не каждый день, но ночевать она не оставалась. Строгий устав ее большого семейства, скорее все-таки восточного, соблюдался всеми детьми. Особенно приглядывал за порядком старший брат.

– Я рассказала про тебя Аврааму, – сказала она как-то. –

Он был бы рад познакомиться с тобой.

«Вот, хочет все испортить, – подумал Митя с досадой, – видали мы этих старших братьев-сватов», – а вслух проговорил:

– Как-нибудь, при случае...

– Митя? А что бы ты делал, если б я исчезла?

Он обнял ее, улыбнулся:

– Стал бы тебя звать.

– Как? – удивилась она.

– А вот так! – И он несколько раз ударил ладонью по тамбурину...

Помнится, тогда она пропала на неделю, и он не искал ее. Знал, что придет сама. И она пришла, как ни в чем не бывало, со своей клоунской гримаской в уголках растянутого рта. Сказала, что уезжала в Мадрид с Моти Глюком, помогала монтировать выставку в Музее современного искусства.

Митя почувствовал злое тянущее чувство в груди. «Неужели ревную?» – подумал, мысленно усмехнувшись. Но она в тот вечер особенно безумствовала, колотила по тамбурину, хохотала, хохотала... Смотрела на него серо-золотыми стрекозыми глазами:

– Митя, для тебя исполняет Мастер-тарабука! – И щекотно выстукивала на его спине сложные ритмы. – Смешно? Правда смешно?

– Обхохочешься...



Месяца через три чудом – а вернее, немыслимыми усилиями и челночной дипломатией двух его покровителей, – он заполучил годовой грант от Союза художников на поездку во Флоренцию.

Это было захлестнувшим его счастьем: Италия, музеи, картины великих мастеров и возможность писать, не задумываясь о куске хлеба... Последние недели перед отъездом он был так возбужден, так озабочен приготовлениями в дорогу, так боялся всего, что могло бы помешать сбывающейся мечте... С Мастер-тарабукой они почти не виделись. Встретились только перед самым отъездом, мельком. Он был рассеян, весел, небрежен... Хоть убей, даже не помнил – как расставались.

И уехал.

\* \* \*

Италия смыла с него всю прошлую жизнь, все любви и дружбы, поглотила, провернула его, словно в мясорубке. Год пролетел – не ухватишься, но ему удалось зацепиться в одной дизайнерской фирме и остаться в одном из городков под Флоренцией еще на год...

За это время у него было три связи – две пустячные, одна задевшая настолько, что несколько раз всерьез задумывался: не жениться ли? Однако бог миловал, и два года спустя после

отъезда он вернулся в Яффо...

Не сразу вспомнил о Мастер-тарабуке и не сразу стал ее искать. Просто поначалу чего-то недоставало в морском воздухе этой местности, – крикам чаек в порту не вторили гулкие удары тамбурина. Однажды, сидя в компании художников в портовом ресторанчике (здешние арабы подавали к жареной форели какой-то особенный, кисловато-терпкий соус), он обознался, приняв за нее какую-то девушку, входящую в двери, и по внезапному болезненному толчку в груди понял, что немедленно хочет увидеть ее, услышать ее смех, заглянуть в серо-золотые глаза стрекозы...

Он стал спрашивать о ней, разыскивать повсюду. Наконец кто-то сказал, что она уехала в Швейцарию, живет в Цюрихе, замужем...

Конечно, он не стал горевать – какая чепуха, в самом деле! Да и странно было бы ожидать, что она здесь тоскует по нему в одиночестве... Она забавно смеялась, это правда... «Митья, ты имеешь Мастер-тарабуку!» Дай бог ей счастья...

Прошел еще год, он забыл о ней. Вернее, вспоминал только по праздникам, когда мальчишки выносили на улицы тамбурины и неумело били в них, стараясь «переколотить» один другого. Вот тогда некоторое сжатие... да нет, легчайший сквознячок нежно так пролетал по сердцу... Нет, не мог он этого объяснить!

Однажды сидел в мастерской у друга-скульптора.

Вдруг открылась дверь, и вошла она – просто и буднично: в том же мотоциклетном шлеме, та же клоунская длинная улыбка, те же серо-золотые глаза. Он ахнул, оцепенел, вско-чил ей навстречу, они крепко обнялись, поглядели друг на друга, расхохотались... Она совсем не изменилась.

– Да что ж ты – так и едешь по всему миру на своем мотоцикле? – смеясь, спросил он.

– Нет, конечно, одолжила у брата на месяц, пока тут кру-чусь...

Вместе вышли на улицу. Ему нужно было ехать куда-то по делам – не важно, он уже забыл обо всем. Сейчас важно было только то, что она вернулась. И уже невозможно внятно объяснить самому себе – почему, почему он уехал без нее, почему жил без нее эти годы, и как же теперь загладить свою вину, как не отпустить ее, вот так прижать к себе и уже не отпускать от себя ни на шаг!

Она села к нему в машину «на минутку», и, заехав на задворки какого-то здания, он остановился, повернулся к ней, они подались друг к другу, затянув долгий нежный поцелуй стосковавшимися губами.

Наконец она оторвалась и, уперев ладони в его грудь, долго пристально всматривалась в его лицо своими веселыми стрекозьими глазами. Потом проговорила:

– Митя, у меня СПИД.

Он взмок мгновенно и обильно, словно его окатили фон-

танные струи. Волна жара поднялась из желудка, руки и лицо покрылись гусиной кожей.

Первым желанием было – бежать не оглядываясь, бросив ее вместе с машиной тут же, на задворках старого Яффо. Страшным усилием воли он пригвоздил себя к сиденью и даже не откинулся назад, не отодвинулся, не отвернулся.

Она стала рассказывать, горько улыбаясь, как отгородились от нее родные, как презирает ее старший брат Авраам. Говорила просто, буднично, снимая легкой ладонью слезы, катящиеся по щекам...

– Вот куплю колокольчик на блошином рынке, повешу на шею, буду ходить.

– Зачем – колокольчик? – машинально спросил он, почти не слыша, судорожно вспоминая, что с утра был у зубного врача и там, должно быть, ранка еще не затянулась...

– Колокольчик на шею и балахон с капюшоном на лицо, – повторила она. – Так прежде бродили по свету прокаженные... Ты не бойся, – сказала она, глядя на него прямо, – поцелуй не заразен. Ты же знаешь, заражаются через кровь или...

– Или, – слабо улынувшись, повторил он. И опять вспомнил, что с утра был у зубного врача.

– Я уверена, что ты чист! Все это случилось уже после тебя... Ты уехал, Митья, и не звонил... Я звала тебя. Я каждый день играла на тарабуке – мне казалось, что я выманю тебя оттуда... Никогда я не играла так прекрасно...

– Это... твой муж? – проговорил он наконец.

– Нет, – сказала она легко, – я живу с одним парнем, беднягой, которого заразила, не зная еще, что больна.

Он заставил себя еще посидеть с ней рядом, не в силах прикоснуться к ней и умирая от ужаса... Заставил себя вновь и вновь выслушивать ее жалобы на семью.

– Только ты один, – говорила она, плача и улыбаясь своим клоунским ртом. – Только ты один не изменился в лице, когда узнал.

Наконец он дождался, когда она выйдет из машины, невероятным напряжением лицевых мышц удерживая на лице улыбку, помахал ей рукой и, когда она исчезла за углом, открыл дверцу машины и, собрав всю слюну во рту, сплюнул на грязный мазутный асфальт. Ему показалось, что в слюне кровь. Он вышел, присел на корточки и долго с колотящимся сердцем всматривался в крошечную пенную лужицу.

Так начался изнурительный кошмар этих двух недель, в продолжение которых он пытался заставить себя решиться на проверку и одновременно уговорить, что здоров и ни в какой проверке не нуждается.

Чтобы избежать контактов с женщинами, объявил двум постоянным подружкам, что уезжает на несколько дней в Германию, а сам часами сидел в запертой, с закрытыми железными ставнями мастерской. Бродил при свете лампы от картины к картине, а когда останавливался перед большим

острым обломком старинного зеркала, подобранного у антикварной лавки, долго и тупо разглядывал свое исполосованное солнечными лезвиями сквозь ставни лицо. Часто взгляд его падал на тамбурин, запыленный с тех пор, как она играла на нем, тогда подходил и вяло шлепал ладонью по туго натянутой коже.

Он перестал спать и почти ничего не ел... Стал подсчитывать, сколько проживет еще, если заразился. И как быть – тянуть ли резину мгновенно осевшей жизни или уйти сразу, не успев стать парией и проклятьем для друзей и женщин? И как и у кого – не вызывая подозрений – узнать, насколько быстро проявятся признаки болезни?

Он резко похудел, и в один из этих тягостных тупых вечеров у него вдруг начался приступ астмы – первый приступ болезни, которая потом будет мучить его всю жизнь.

Начался этот приступ неожиданно: от взгляда все на тот же покрытый пылью тамбурин. Ему показалось, что пыль мешает ему дышать, забивается в горло и ноздри, оседает на легких, пробкой стоит в бронхах. Он прокашлялся, пытаясь избавиться от незнакомого ощущения, но пыль преследовала его – она уже носилась по мастерской, шевелилась на полках, облачками поднималась при каждом шаге, при каждом движении.

Он снова и снова пытался прочистить горло, все чаще и чаще дыша, сипя, сплевывая слюну, пытаясь вдохнуть, протолкнуть воздух внутрь сквозь игольное ушко в горле... На-

конец схватил проклятый тамбурин и, кулаком толкнув ставни, выкинул его наружу. Тот ударился о камни забора напротив и покатился вниз по крутизне узкой улочки, запрыгал по ступеням, нагнал какого-то испуганно отпрянувшего туриста, покатился дальше...

Морской воздух криками чаек влился в мастерскую, влажно зашевелился в занавеске на двери, раскачал плетеный колпак на лампе под высоким потолком...

Наутро Митя уже сидел в коридоре отдельного флигеля во дворе клиники, дожидаясь своей очереди на анализ крови.

И спустя несколько адовых дней, перемежающихся приступами удушья, которые он считал первыми признаками заражения и все-таки надеялся на что-то немислимое, неизреченное, лишь ночами выдыхаемое им словом «...О-о-осподи!!!» (самыми страшными были ночи и мысли о необходимости и неотвратимости самоубийства), – он опять сидел в чертовом флигеле и ждал своей очереди. Его колотил озноб.

Всех сидящих в очереди вызывали попеременно в два кабинета. И, судя по тому, что из одной двери люди выходили с обморочно-счастливыми лицами, а из другой – как слепые и оглушенные рыбы, чуть ли не руками нащупывая дорогу к выходу, он понял, что в этих разных комнатах дают разные ответы.

Последние несколько минут, когда он ждал, в какую комнату его позовут, он никогда не забудет. Они станут мучить

его в снах — эти две двери, открывающиеся попеременно. И его будут звать то в одну, то в другую, из них будут тянуться к нему страшные руки, и тащить в разные стороны, и рвать на части...

Наконец из «хорошей» комнаты выглянула сестра и назвала его фамилию.

Он остался сидеть. Чайки кричали в ушах, монотонно гудел тамбурины.

Она снова назвала его фамилию и спросила: что, нет такого?

Тогда он поднял руку, вяло улыбаясь...

За все это время она не позвонила ни разу. Сначала он боялся, что не сможет скрыть ужаса и ненависти, если она предложит встретиться.

Потом оценил ее деликатность.

Потом подумал, что она уже уехала, и — ощутил странную смесь облегчения и досады: как же так, не попрощаться, даже по телефону?! Не могут же они после *всего* вот так расстаться, не сказав друг другу *последнего* слова?

Наконец раздался звонок.

— Митя, — услышал он ее забавный, с этими восточными низкими обертонами, такой милый, такой смешной, *безопасный* голос. — Я уезжаю...

— Когда?! — вскрикнул он. Сердце его вдруг забилось, как



бывает при неожиданной и тяжелой вести.

Вдруг, в одно мгновение он понял – чем она была в его жизни.

– Я звоню из аэропорта. Уже сдала чемодан, сейчас допью кофе и поднимусь в зал ожидания.

– Как же ты могла...

– Дорогой мой, молчи! Не надо слов. Ничего уже не надо. Я – сколько проживу – буду благодарна тебе за твое лицо тогда... Я ведь следила, внимательно следила. Все-таки не зря я всю жизнь люблю тебя, Митя...

Он заметался по мастерской... Остановился перед полкой, на которой столько лет пылился ее тамбурин. Увидел ее серо-золотые плачущие глаза, ее клоунскую гримаску в углах рта...

– Гад! – сказал своему отражению. – У, гадина!

Сбежал вниз, сел в машину и, выжимая предельную скорость – как когда-то она на своем мотоцикле, – помчался в аэропорт.

...Она уже прошла за барьер.

– Мастер-тарабука!!!

Она оглянулась, всплеснула руками, засмеялась, засмеялась... Что-то сказала, затеребила какую-то блестящую штуку на шее.

– Я ни черта не слышу!!! – крикнул он, боясь расплакаться.

Они стояли у барьера, кричали через головы пассажиров, проходящих контроль.

— ...колокольчик!.. Правда смешно?!

— ...если... все-таки... позвони мне!

— ...когда-нибудь... если буду...

Голоса их долетали сквозь гул толпы, как замирающие звуки тамбурина.

Удар... хлопок... торопливая россыпь... остывающий звук...

Удаляющийся звон колокольчика...

Смешно...

Правда смешно?

Обхохочешься...

# Голос в метро

Учительница музыки, вдохновенная и строгая старуха, жила в огромной коммунальной квартире на Чистых прудах. Если закрыть глаза, можно и сейчас вспомнить до мельчайших подробностей – что стояло в этой тесной, как пенал, комнатке, и в который раз подивиться – каким чудом вполз и стал боком к окну старый «Блютнер». На стене висели четыре тарелки саксонского фарфора: на одной – кавалер в коротких лиловых штанах знакомился с дамой, в глубоком поклоне отставив икрастую ногу с бантом, на второй – они гуляли под ручку среди двух зеленых кустов, на третьей – откровенно миловались, на четвертой – женились.

Старый «Блютнер» в пустой послеполуденной квартире звучал властно и гулко.

– Менуэт надо играть – так! – говорила учительница и указывала пальцем на третье блюдо, где, прикрыв веером длинную шею и половину щеки, дама пальчиком грозила галантному кавалеру...

Уроки музыки продолжались все детство, до самого девятого класса, пока мама не решила, что пора приналечь на математику, оставив музыку «для души».

В девятом классе их школу слили с другой, математической, в классе появилось несколько новых мальчиков, и в одного из них она влюбилась до беспамятства. Это был бле-

стояще одаренный мальчик: он прекрасно учился, писал стихи, рисовал. И внешне удивительно соответствовал всем своим дарованиям: рослый, тонкий в кости, с волнистыми светлыми волосами, с сильным худощавым лицом – такими она представляла себе ангелов. И даже очки ему шли, и даже имя его – Кирилл – казалось ей благородно-лаконичным, мужественным, летящим. Но главное, голос – светлого счастливового тембра – ввергал ее в экстаз, сродни молитвенному. Голос был чистой радостью...

Стоило ему оказаться поблизости, с ней происходило нечто вроде припадка: горло сжималось в спазме, в висках стучали молотки, колени подгибались, по спине бежали мурашки...

Он ее не замечал... Дружил с двумя мальчиками из бывшей своей школы и с ее подругой Фирой – активной девочкой, какие всегда становятся старостами класса, комсоргами, председателями школьных комитетов.

– А знаешь, это даже хорошо, что он ни о чем не подозревает! – уверяла ее Фира. – Не так унижительно для тебя.

Целый год она ждала, что случится что-нибудь – например, в один прекрасный день она спокойно подойдет к нему и что-то спросит, легко и остроумно, как она может, или, наоборот, он вдруг увидит, заметит ее, восхитится ею... Но время шло, и ничего не менялось – каждый раз, когда он проходил мимо или случайно обращался к ней, она немела,

теряла самообладание, в висках бухали молотки, колени подгибались.

В десятом, последнем классе он перешел в другую школу. Она проболела от горя недели три, потом несколько месяцев жила как в погребѣ, задыхаясь без его голоса; наконец стала выздоравливать от этой запойной любви и в конце концов выжила, обошлось...

Время от времени Фира, которая продолжала дружить с Кириллом и встречалась с ним в каких-то компаниях, приносила новости: он с блеском сдал экзамены в медицинский, он опубликовал в «Смене» три стихотворения, он – капитан команды КВН Первого медицинского... Он окончил аспирантуру... Он женился.

Через несколько лет, когда все они уже переженились, Фира пригласила ее с мужем на день рождения, обронив мельком: «Приходи, между прочим, и Кирилл будет».

Она пришла. И она увидела его. Это был умный яркий мужчина с начальственным баритоном, уже добившийся немалого в своей профессии. И он был абсолютно ей безразличен, потому что ничего общего не имел с тем удивительным мальчиком, при звуке голоса которого она цепенела и глохла.

Когда все выпили и завязался разговор, она стала что-то рассказывать, одну из своих забавных историй – она всегда была артистичной, остроумной рассказчицей, и умела

подмечать и отшлифовывать те блески, которые рассыпаны по нашим будничным жизням. И на другом конце стола он вдруг умолк, обернулся в ее сторону, потом заулыбался, расхохотался, удивился и уже весь вечер ходил за ней из комнаты в комнату, а она с удовлетворением взрослой молодой женщины чувствовала эту натянутую струну между ними. И была спокойна, спокойна и уверена в своем обаянии.

На другой день позвонила Фира, сказала:

– Слушай, какой успех ты имела вчера у сильной половины! Мне Кирилл говорит: «Как преобразилась Нонна! Умна, интересна... А хороша!» – а я ему: «Да она всегда такой была, ты просто не замечал!»

И прошло еще несколько лет. В середине семидесятых он эмигрировал с семьей в Америку и там поначалу тяжело приживался и пробивался, экзамены сдавал, ассистировал какому-то профессору – он, кто уже блестяще проводил сложнейшие операции, к кому в Москве добивались попасть на прием! – он подавал инструменты и отвечал: «Да, сэр... нет, сэр...» Но и такое превозмог этот сильный талантливый человек, встал на ноги, преуспел, даже разбогател... Изредка на перекладных довозились полузаглохшие приветы. Фира рассказывала какие-то невероятные вещи: Кирилл приобрел под Нью-Йорком огромный дом – для русских писателей, нечто вроде дома творчества, – чтобы тем было где работать... У Кирилла несколько клиник... Он учредил сти-

пендию для молодых поэтов...

Потом жизнь совсем завертелась, закрутилась, рухнула империя, вышла замуж дочь, с огромными трудами построили дачу, купили наконец машину...

Однажды позвонил бывший соученик, сказал:

– Слушай, приехал Кирилл, помнишь его? Издал книжку своих стихов, и ребята организовали ему вечер в Музее Маяковского. Хочешь прийти?

Она пошла. Перед самым входом в музей увидела подъехавшее такси, из которого вышел высокий, грузный, не поздешнему загорелый человек в светлом плаще.

Она приблизилась и окликнула его:

– Кирилл!

Он остановился, вопросительно глядя.

– Я – Нонна...

Ахнул, раскинул руки, бросился обнимать:

– Нонка, как я рад, как я рад!

Она сказала:

– Ну, не буду тебе мешать, тебе ведь надо сосредоточиться перед выступлением... После поговорим...

– Погоди, погоди! Что – после! Расскажи – как тут все? Я что-то не могу до Фирки дозвониться, она что – переехала?

– Кирилл, – сказала она, – Фира умерла полгода назад...

Он зажмурился, скривился... тихо спросил:

– А Володька Шкурников?

– Два месяца как умер от инсульта. Видишь, я не хотела так сразу, но ты спросил, и я не смогла...

– Ничего, – проговорил он, как-то осунувшись, – ничего... Что ж тут поделаешь!

...И свое выступление начал с того, что узнал сейчас о кончине школьных друзей, памяти которых и хотел бы посвятить этот вечер. Потом долго читал стихи, хорошие стихи – Нонна сначала побаивалась, что будет неловко, если не понравится, но ей понравились многие стихи, а она была из ценителей и всю жизнь следила за новыми именами...

Понравилось даже, как он читает – монотонным голосом, что называется, безыскусно...

Дня через два, перед самым его отъездом, они встретились. Он звал ее обедать в модный ресторан, но она сказала:

– Да брось, какой там ресторан! Приходи ко мне, посидим, поговорим...

И он пришел, принес дорогое вино и цветы, они долго сидели в гостиной, вспоминали, вспоминали... словно прочились не один год, а с первого и до последнего класса. Очевидно, тот девятый класс, те пятнадцатилетние ломкие их голоса звучали в памяти каждого яснее, чем остальные звуки.

И вдруг, перебив саму себя на какой-то забавной истории, она стала рассказывать ему, как страшно и горестно его любила, как слабела при виде его, как горло сжимал спазм, сту-



чали в висках молотки и подсекались ноги...

Он схватился за голову, простонал:

– Боже мой! Почему, почему ты не призналась! Почему ты молчала?! Ведь все могло быть иначе!

Она засмеялась, сказала:

– Пойдем на кухню, я сварю кофе... Потрясающий рецепт, знаешь, от одного бармена из Салоник, там вся штука, чтобы пенка дважды подходила...

Недели через две поздним вечером она возвращалась домой в метро. На одной из станций в вагон ввалилась компания подростков лет по пятнадцати. Она стояла к ним спиной и видела только смутные отражения в темном окне.

Судя по всему, они возвращались с вечеринки и шумно обсуждали удавшийся вечер... Голос одного из них вдруг полоснул по сердцу, круто развернул ее к группке юнцов. Она оглянулась.

Один из мальчиков поразительно напоминал Кирилла – то же сильное худощавое лицо в очках, тонкость в кости. Но главное – голос, теплый мальчишеский голос... Это было удивительное, редкое сходство!

И – горло ее сжалось, в висках заколотился пульс, колени ослабели...

Она вышла на остановку раньше и долго шла с колотящимся сердцем по Чистым прудам – по темным родным пе-

реулкам, в которых давно не гуляла...

Постояла и у знакомого подъезда в старом доме, где учительница музыки когда-то протягивала руку к галантной любви на фарфоровом блюде и говорила ей строго:

– Менуэт надо играть – так!

# Заклятье

– Вы верите в прорицателей?

– Простите?..

– Ну, в предсказателей, в гадалок... в тех, кто предсказывает судьбу, – верите? – Она смотрела на меня беспокойным требовательным взглядом. – Вы же писатель, вас должно это интересовать!

Часа три назад мы познакомились на дне рождения у общих приятелей, хотя слышала я о ней давно. В последние годы ее имя дизайнера высокой моды приобрело известность в самых разных кругах. Когда-то я даже купила набор серебряных украшений, выполненных по ее изысканному дизайну. Она и сама была изысканной, стильной: высокая, с ярким тюркским лицом, с тяжелыми черными волосами, прихваченными на затылке резной заколкой из слоновой кости, одета она была просто и дорого-небрежно. Так обычно и одеваются эти, собственно, сочинители моды, словно на себя у них не хватает времени или сил.

Мы вместе вышли из квартиры наших друзей, обнаружив, что живем недалеко друг от друга. Она была на машине и любезно предложила подбросить меня до дома.

– Что вы имеете в виду под предсказанием?

– Я говорю о буквально назначенном сроке, знаете, совершенно в библейском духе: «Твой час настал, ты взвешен на

весах и признан легким».

– Ну, это, знаете ли, зависит от обстоятельств, от настроения, от ожиданий... Бывают экзальтированные личности, которые любое совпадение...

Она перебила нетерпеливо:

– Я хочу рассказать вам свою историю... Давно хотела рассказать ее кому-то, кто не просто послушает и поахает. Признаться, сегодня пришла именно затем, чтобы познакомиться с вами... Я вас читаю, и – можно не буду говорить все эти банальности, которые, я уверена, вы и так слышите от читателей-поклонников? Дело в том, что моя история, хотя прошло уже несколько лет, не дает мне покоя, не отпускает... Знаете, так бывает, когда вы уходите из дому и вдруг вас начинает точить мысль, что вы оставили на плите чайник или кастрюльку. И хотя вы точно помните, что выключили газ, эта проклятая засевшая мысль все же держит вас на крючке и не дает расслабиться.

Я промолчала... Почему-то многим посторонним или едва знакомым людям кажется, что я достойна того, чтобы обрушить на меня сюжет чьей-то жизни. Очевидно, я произвожу впечатление акына... Обычно я выслушиваю все с чрезвычайно внимательным видом, после чего забываю. Ведь писателю легче всего сочинить именно историю, сюжет... И гораздо труднее вдохнуть в придуманных героев дыхание жизни.

– Если у вас нет настроения, можете послать меня к дья-

волу, – вдруг сказала она.

Я обернулась и посмотрела на нее. Было что-то скорбно-патрицианское в ее горбоносом профиле, отраженном в боковом стекле машины.

– Нет-нет, что вы, – торопливо уверила я, – конечно, мне будет...

И опять она перебила меня, и в тоне, в напряжении голоса чувствовалась застарелая измученность, которая, видимо, не отпускала ее ни на минуту.

– Не называю фамилии моего мужа, вы не могли его знать. Да это и не имеет значения.

Мы познакомились на международной конференции дизайнеров в Париже... Знаете, это была одна из первых грандиозных тусовок профессионалов нашего дела. Конец восьмидесятых. Новые веяния истории, новые возможности, международный интерес к России... Да и просто молодость, наконец. Наша персональная молодость...

На банкете по случаю окончания конференции ко мне подошел один из наших русских людей, который уже несколько лет работал в Париже. Ему удалось зацепиться в одной дизайнерской фирме, и он только-только начинал карабкаться по этой крутой лестнице... Мы были бегло знакомы в Москве через каких-то общих друзей. А тут за три дня конференции познакомились ближе, как-то *увидели* друг друга...

Словом, на банкете мы с ним спустились в бар отеля, за-

казали – не помню уже – что-то спиртное, и остались сидеть за стойкой, болтая...

Боковым зрением я видела, как слева подошла какая-то женщина, протянула бармену пустой бокал, который тот сразу и наполнил... Тогда она повернулась к Мише (его звали Мишей) и что-то проговорила по-французски.

Это была нестарая женщина, но явно опустившаяся, я даже приняла ее за проститутку, высматривающую клиента. Внешне ничего особенного – крашеная блондинка средних лет, простое лицо, но, знаете, фигура истинной француженки: есть в них, даже самых неказистых, некая грация в осанке...

У Миши после ее слов стало такое растерянное лицо. Он улыбнулся, видно было, с усилием, что-то ответил ей и повернулся ко мне.

– Что она сказала? – спросила я.

– Это гадалка, – ответил Миша, глядя мне в глаза. – Она говорит, что раскинула сейчас карты и видит, что мы будем вместе ровно семь лет.

Меня словно толкнули прямо в сердце. А он накрыл своей рукой мою, лежащую на стойке бара, сжал ее, и так, не разжимая рук, мы поднялись в мой номер...

Ну, что вам сказать... Оба мы были люди зрелые, оба любили и ошибались, у обоих за плечами было уже по одному крушению в жизни. Непокойные, мнительные, требовательные друг к другу...

Началась сумасшедшая жизнь в самолетах, короткие встречи, истеричная, постоянно выясняющая отношения любовь, эти вечные ссоры в аэропортах перед самым отлетом... Он едва начал завоевывать имя в профессиональных архитектурных кругах Парижа и требовал, чтобы я перебиралась к нему. Я же любила свою Москву, свое – потрясающе интересное – дело и тоже не желала ничем поступиться. У меня здесь в то время наметились два важных проекта, оба – завязанные на известных дизайнерах высокой моды... Так что я тянула мужа назад, в Россию...

Господи, сколько мы налетали этих часов! Сколько раз мы ссорились, расставались навсегда, сколько раз я уезжала, чтобы никогда больше не вернуться к нему! И каждый раз, проплакав все время полета, едва войдя в квартиру и включив автоответчик, обнаруживала его насмешливый голос:

– Сбежала? Думаешь, освободилась, избавилась от меня? Нет уж, голубушка, против заклатья не попрешь, семь лет – мои – еще не кончились!

...Однажды, стоя под душем, я вяло вспоминала – какое сегодня число? И вдруг поняла, что сегодня – семь лет, ровно семь лет, как мы спаяны порознь-вместе.

Я захохотала, подставила лицо под колкие струи воды, подумала: вот сейчас вылезу из ванны, вытрусь насухо, быстро оденусь, соберу сумку и успею в аэропорт к парижскому са-

молету. Свалюсь как снег на голову, и мы отпразднуем вместе этот юбилей, этот странный крючок, не давший нам расстаться...

Едва вышла из ванной, зазвонил телефон. Это был наш общий друг, известный парижский художник, тоже из русских.

– Вика... – сказал он, то ли что-то с трудом прожевывая, то ли что-то мучительно сглатывая, – час назад... на моих глазах... На моих глазах умер Миша.

– Вам удобно, если я заеду со стороны Ржевского? – спросила она после нескольких мгновений молчания.

– Да, спасибо... Какая поразительная история!

– Он вышел из подъезда своего дома, столкнулся с нашим другом и сказал, что едет в аэропорт, хочет сделать мне сюрприз... Надо, сказал, отметить одну сакраментальную дату. Так и сказал – «сакраментальную»... Был, говорят, в отличном настроении, торопился... Они попрощались, Миша отошел шагов на пять и упал на тротуар замертво...

Она подъехала к моему дому, выключила зажигание...

Я не могла выйти из машины просто так. Но и что сказать этой измученной душе – не находила.

– Несколько дней я кричала... – продолжала она вяло, словно с окончанием истории сразу сникла, устала. – Потом обвыкла... Но, знаете, не дает мне покоя это заклятье! Я даже искать ее принималась, гадалку... Расспрашивала друзей,



подстерегала ее в том баре... Она как сквозь землю провалилась. Никто и вспомнить не мог – была ли такая...

– Не хотите зайти ко мне на чашку кофе? – спросила я, понимая, что надо бы ее обогреть, но не умея, к сожалению, быть внезапно сердечной с полужнакомыми людьми.

– Нет-нет, благодарю вас! У меня сегодня еще деловая встреча. Очень тронута тем, как вы... Мне это было важно, поверьте.

Она включила зажигание, я вышла и хлопнула дверцей. Она развернулась и, выезжая со двора, еще раз помахала мне из глубины темной машины...

# Бессонница

Давид сам приехал в аэропорт встретить Мишу, и тому это было приятно и лестно. Давид Гудиани возглавлял созданный им много лет назад Музей современного искусства, в котором висели и несколько Мишиных картин из цикла «На крышах Тбилиси».

Они не виделись больше двадцати лет. Когда в семидесятых Миша уехал в Америку, сгинув в Зазеркалье навсегда, – никто из них не надеялся, что однажды обнимет другого. И вот они обнялись – тесно, крепко, обхлопывая спину и плечи друг друга, чуть не плача от радости. Давид, конечно, постарел, поседел – все мы не мальчики, – но был по-прежнему горяч, поджар и чертовски остроумен. Не человек, а бенгальский огонь.

Миша знал, что десять лет назад у Давида произошла трагедия – в авиакатастрофе погибли жена и сын. Он читал некролог в «Советской культуре», привезенной в Нью-Йорк одним общим знакомым несколько месяцев спустя после их гибели, – Нина Гудиани была известной балериной... Говорили, Давид чуть не умер, год валялся по психушкам, пил горькую, но – выкарабкался. Единственно – не летал, и аэропорты объезжал за много верст. Именно поэтому Миша был удивлен и растроган, что Давид приехал встретить его сам, хотя мог послать любого из своих подчиненных.

И вот, энергичный и подтянутый, он уже с места в карьер везет старого приятеля смотреть свое детище, Музей современного искусства.

– Мы еще с тобой ого-го, старик! – повторял он, хохоча и кося коричневым глазом из-под полей элегантной шляпы. – Мы еще дадим бабам пороху! Я тебя познакомлю здесь с такими девочками! Ты останешься, поверь мне, останешься!!!

...Весь тот первый день они мотались по мастерским и выставкам, а вечером, прихватив двух молодых художников и трех неизвестно откуда возникших девиц, поехали за город – обедать в какую-то модную таверну, потом успели на презентацию новой книги известного прозаика и в конце концов завалились до глубокой ночи к одной знаменитой актрисе, приятельнице Давида...

Часу в пятом утра оказались дома, и Миша – в чем стоял – рухнул на диван в кабинете хозяина, мгновенно уснув. Но Давид вошел, растормошил его, приговаривая: «Хватит спать, дома спать будешь!» – сварил кофе, и они проболтали до утра – о друзьях, разбросанных по странам, об искусстве, о современной живописи, которой оба по-разному служили всю жизнь.

А наутро повторилось все то же – явились художники и два поэта, все поехали в театр на прогон новой пьесы, потом очутились на открытии конференции, посвященной бог знает чему, затем оказались в мастерской какого-то скульпто-

ра... А вечером Давид пригласил к себе целую компанию, которая гуляла всю ночь и разошлась только под утро.

На третьи сутки ошалевший от буйных и бессонных празднеств Миша взмолился:

– Давид, дай хоть эту ночь поспать по-человечески. Ну нет же сил!

Тот сник, опустил плечи, пробормотал:

– Да... Да, конечно, отдыхай... Отдыхай, дорогой...

Вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Мише показалось, что друг обиделся, он вскочил и пошел за ним на кухню. Давид обрадовался, засуетился:

– Хочешь, кофе тебе сварю?

– Да я уже весь трясусь от твоего кофе! – воскликнул Миша. – Давид, Давид!.. Неужели ты не видишь, что болен?! Что с тобой творится? Ты страшно возбужден, ты совсем не спишь!

– Не сплю, – согласился тот. – Совсем не сплю. Никогда.

– Почему?!

Давид отвернулся и, помолчав, обронил тихо:

– Боюсь...

...Он всегда был любимцем женщин и всегда изменял жене, и это не значило ровным счетом ничего: семья составляла для него стержень жизни, и день был хорош или не очень в зависимости от того, в каком настроении Нина просыпалась. Дочь знаменитого тбилисского адвоката, прима-балет-

рина Государственного театра оперы и балета, маленькая, с царственно прямой спиной и тихим властным голосом, – когда она появлялась перед людьми, Давид переставал быть центром внимания и становился просто мужем Нины.

Тем августом они собирались всей семьей погостить у друзей в Ленинграде. Билеты были куплены задолго – двенадцатилетний сын и сама Нина давно мечтали об этой поездке.

Но за день до полета позвонили из музея: в одном из центральных залов прорвало батарею, и хотя картины вовремя эвакуированы, надо срочно что-то решать с ремонтом. Нина расстроилась, хотела сдать билеты, но Давид уговорил ее лететь – он догонит их в Питере дня через три-четыре, как только наладит здесь работу ремонтной бригады.

Было еще одно обстоятельство, из-за которого он втайне желал остаться один на пару дней: ему предстояло отремонтировать кое-что еще, вернее, наоборот, разрушить до основания. Всегда осторожный и осмотрительный в отношениях с женщинами, он, похоже, на этот раз заигрался. Очередная пассия, хорошенькая аспирантка местного университета, заявила, что претендует на большее в его жизни, чем мимолетный роман, закатывала истерики, грозилась позвонить Нине. Взбешенный Давид, разумеется, оборвал эту связь, но девушка оказалась опытным тактиком: глубокой ночью или ранним утром в квартире раздавались звонки. Он бросался к те-

лефону... Трубка молчала.

Совершенно истерзанный, Давид не знал, что делать – то ли убить мерзавку, то ли молить ее о пощаде.

На сей раз звонок раздался буквально за пять минут до выхода из дома – такси в аэропорт уже ждало их у подъезда. Как он мог прозевать момент, как мог допустить, чтобы Нина подошла к телефону?!

Она стояла к нему спиной – он так любил ее гордую спину, маленькую аккуратную голову, склонившуюся к трубке! Молча слушала, не прерывая. Наконец сказала:

– Вы ошиблись номером. Вычеркните его из записной книжки. Здесь живет семья Давида Гудиани и собирается жить еще много лет в том же составе.

– Кто это?! – крикнул он, обмирая от страха. – Кто?!

– Никто, – ответила она спокойно, не глядя на него. – Ты же слышал – ошиблись номером... Резо, не забудь куртку. Твоя кепка у меня в сумочке...

И до самолета не проронила ни слова, что было для него самым страшным.

Он проводил их до трапа, расцеловал сына, повернулся к жене и сказал хрипло и умоляюще:

– Нина, душа моя...

Она молча пошла вверх по трапу. Он смотрел вслед, бессознательно, сквозь сжимающий сердце страх любуясь ее великолепно осанкой. На последней ступени она обернулась и сказала спокойно и властно:

– Давид! Я жду тебя...

– ...Понимаешь, – говорил он, – днем еще ничего. Друзья, суета, дела всякие... А ночи боюсь. Боюсь уснуть... Стоит мне закрыть глаза – она уходит от меня по трапу самолета... Ее царственная спина, прекрасней которой я не видел в жизни... И каждую ночь она оборачивается... Она оборачивается, и говорит мне:

– Давид! Я жду тебя...

## Двое на крыше

Мне очень нравилась эта девочка. В шестом классе мы сидели за одной партой, а в седьмом ее пересадили. Но каждый день после школы мы возвращались домой одной дорогой, хотя для этого мне приходилось делать приличный крюк.

Она жила на Кашгарке, в одном из тех огромных коммунальных ташкентских дворов, застроенных кривыми мазанками, которых как и где придется налепили после войны эвакуированные.

Я очень любил эту дорогу с Наташей. Сначала мы шли по бульвару, засаженному карагачами и платанами, потом – мимо старого узбекского кладбища, заросшего травой; поднимались на взгорок, с которого ее двор открывался весь целиком, с веревками, груженными бельем, с играющей ребятней и косыми, крытыми черным толем крышами низеньких сараев.

В тот день она торопилась домой и была радостно возбуждена: ждала отца из дальней какой-то поездки. И всю дорогу приговаривала: «Вот приду, а папа дома!» Просто ни о чем другом в тот день не могла говорить – даже досадно было.

Когда взобрались на горку и вниз, как всегда, открылся весь ее двор с черными заплатами толевых крыш, мы остановились как вкопанные: сначала увидели толпу во дворе, машину «Скорой помощи» и милицейский «воронок».



А потом заметили этих двоих на крыше сарая...

Мужчина и женщина лежали рядом в спокойных позах, как бы отдыхая, и между ними так же спокойно лежала двустволка.

Наташа вдруг вскрикнула и побежала вниз. Она узнала этих двоих издалека. А я еще несколько мгновений не мог сдвинуться с места. Меня потрясли покой и красота их тел. Касаясь головами друг друга, вольно раскинув руки, посреди причитаний и суеты двора, они лежали на черной крыше сарая, как на уплывающем в небо плоту.

Наконец, преодолевая страх, я спустился вниз, подошел к воротам, в которых собралась толпа, и услышал, как соседка рассказывала кому-то:

– Что на него нашло – не знаю, так хорошо жили! То ли застал ее с кем, то ли она велела ему собраться и уйти... кто уж сейчас может знать! Видели только, как выскочил он за ней с двустволкой... Она бегала от него по двору, кричала: «Саша, ты бредишь! Ты бредишь, Саша!!!» Потом по лестнице взлетела на крышу сарая. А он поднял так ружье, прицелился и выстрелил. Ну, она упала молчком, даже пикнуть не успела... Он же стрелок, спортсмен... все, бывало, на соревнованиях... Ну, и взобрался к ней на крышу, обхватил этак ее голову и как завоет! Господи, и страшно как завыл, будто пес! Мы хотели подойти к нему, кричали снизу: «Саша, Саша, миленький, брось ружье!» Никого не подпускал. Всех

нас, при ком вырос вот в этом самом дворе, – на мушке держал. Ну а уж когда «воронок» во двор въехал, он себя-то и порешил...

Она еще говорила, что вот, оставил, безумец, дочь круглой сиротой... Я огляделся, ища глазами Наташу... ее нигде не было, должно быть, соседи увели. Побрел назад, поднялся на взгорок и долго еще, пока не забрали их, смотрел, как на крыше сарая уплывали в небо мужчина и женщина, погибшие так загадочно и страшно.

Придя домой, я лег на диван в столовой и, отвернувшись к стене, долго лежал, не в силах думать ни о чем другом.

Впервые в своей жизни я видел мертвых. И они не внушали страха, наоборот – они были прекрасны, хотя в то время я, конечно, не мыслил такими словами, и вообще не слишком отдавал себе отчет в своих переживаниях. «И это – смерть? – думал я. – Смерть... Так вот она какая...»

Наташу я больше не видел. За ней приехала из Самарканда тетка матери, увезла к себе. Она сначала писала мне – про новый класс, про город... ни слова о том, из-за чего мы расстались... А еще через год моя семья переехала в Москву, и переписка с Наташей угасла. Не знаю, где она сейчас, вспоминает ли нашу дорогу из школы – по бульвару, меж платанов и карагачей, мимо старого узбекского кладбища, поросшего травой.

Но еще много лет при упоминании о смерти, любой смер-

ти, в моем воображении возникало нечто величественное, вольное и прекрасное – вроде тех двоих, уплывающих в синее небо на черной крыше сарая...

## И когда она упала

Лена Батищева – грузная, решительная – ходит в брюках, просторных свитерах и ботинках на рифленой подошве. Когда опаздывает, а опаздывает всегда, сильно топает, так что коллеги узнают о ее приближении задолго до непосредственного появления. Так вот, Лена Батищева, чья жизнь – череда безответных или – что еще хуже – ответных любовей, работает редактором в журнале «Школьная психология».

Недавно американский благотворительный фонд организовал семинар по проблемам воспитания умственно отсталых детей. Лену тоже пригласили участвовать. И целую неделю по этому случаю она жила в гостинице «Россия», хотя до собственного дома могла добраться за час. Но надо же воспользоваться удачей, правда? Когда еще так подфартит...

А в завершение семинара американцы подарили всем участникам культпоход в Большой театр на «Пиковую даму». В роли Старухи – Илзе Лиена.

Все-таки событие. Ведь нечасто, согласитесь, ходим мы в Большой театр, даже и живя в этом городе. Вот в пятом классе, помнится, ходили на «Руслана и Людмилу», ну, в восьмом на «Русалку»... а потом уже редковато получается...

Лена решила по этому случаю вылезти наконец из брюк и надеть чуть ли не единственное свое нарядное платье. Ну а где платье, там и неперенный расход – колготки. Хоро-

шие купила, телесного цвета, достаточно дорогие – рублей девяносто пять что-нибудь... Да оказались колготки с брачком, буквально минут через двадцать в них лопнула резинка. Когда группа выходила из автобуса, колготки на Лене стали стремительно сползать. Лена, как в детстве, начала ступать, широко расставляя ноги, чтоб удержать эти проклятые колготки хотя бы на уровне колен. А в вестибюле Большого театра первым делом устремилась в туалет, где немедленно их стащила и просто сунула голые ноги в зимние сапоги. Провозилась, понятно, то-се... когда наконец вышла, выяснилось, что ее группа уже прошла контроль и поднялась наверх.

Лена не сразу поняла свое бедственное положение. Сначала она улыбалась билетерше – кремневой старухе, с веками, опущенными, как у Вия, объясняла, что вот, случилась такая интимная неполадка с нижним бельем, а билеты у руководителя группы... Пробовала даже докричаться, отсылая куда-то вверх по великолепной, но нуждающейся в ремонте лестнице горловые трели: «Бо-ор-ря, Бо-ор-рь!...»

Все было тщетно. Старуха неколебима.

– Вы что, думаете, я вру, что у меня был билет?!

– Женщина, – отвечает та, – вот и держали бы свой билет при себе...

В полном отчаянии Лена ринулась в кассы... в надежде, что хоть какой-то завалящий билетик там остался. Да где там! Вы ж понимаете, Большой театр, наша национальная гордость.

А уже третий звонок, а народ уже весь прошел в зал, в холле, между прочим, не топят и, между нами говоря, в ноги поддувает. Ну, и обидно!

– Послушайте, – говорит опять Лена билетерше. – Я же с вами по-человечески делюсь, такая вот оказия, резинка лопнула! Я же к вам с полной откровенностью!

– На что мне ваша откровенность?

– Ну, я не знаю – голые ноги вам показать?

– На что мне ваши голые ноги? – невозмутимо отвечает та, не поднимая своих тяжелых век. Смотрит только на уровне рук, на уровне подаваемых билетов. Такая производственная особенность взгляда. – Вот человек! – говорит. – Задницу готова показывать, только бы на халяву пройти.

– Вы... вы что несете?! – закричала Лена. – Я же объясняю вам... Моя группа давно прошла! Пустите меня, я вызову руководителя! Бо-ор-ря-а-а!!!

– Не орите, здесь Большой театр, а не подворотня...

– Пустите же на минутку, я вам этот билет принесу показать!!!

– Сейчас, пустила, – отвечает та.

И Лена понимает, что спектакль начался, а она при своих полных правах и при пустом ее конкретном кресле в девятом ряду амфитеатра должна стоять в холодном холле с голыми ногами на потеху гнусной бабке.

При этой мысли она ломанулась мимо старухи, та рину-

лась встречу, они сшиблись и некоторое время молча остервенело дрались, выворачивая друг другу локти.

Неумелая в драке Лена опять была отброшена, неприятель торжествовал, все было кончено. Она заплакала и потрусила к выходу, но у самых дверей обида пересилила гордость, она вернулась к старухе и проговорила умоляющим голосом:

– Ну послушайте! Ну посмотрите на меня внимательно, ну посмотрите наконец мне в глаза: неужели в моем возрасте и с моим лицом я стану врать вам, что у меня есть билет, когда его у меня нет?!

Растравленная боем билетерша впервые подняла на нее глаза, оказавшиеся абсолютно неинтересными глазами умученной жизнью пожилой женщины, опустила руку и сказала:

– Проходите...

А вечером, распаренная горячей ванной с лавандовым порошком – для успокоения нервов, – отпоенная маминым чаем, Лена звонила подруге и, захлебываясь, говорила:

– Как она танцевала, Илзе Лиела, как она танцевала! Она становилась то девушкой, то старухой, то девушкой, то старухой!.. И когда все было кончено... и Герман ушел, а она упала, – я испытала такое облегчение, такой взлет и безумие, такой душевный простор... каких в жизни своей не испытывала!

# Гобелен

В последнее время ее стали приглашать на спектакли, возможно, потому, что известный журнал опубликовал одну за другой три ее статьи о современном театре. Те неожиданно произвели впечатление: в одном из изданий ей раздраженно ответил знаменитый в недавнем прошлом драматург, на того накинута в конкурирующем издании молодой клыкастый критик, и пошло-поехало. В театральных кругах о статьях говорили еще недели две.

И вот звонок с приглашением на спектакль в один из тех небольших театров, что носят имя создавшего их режиссера.

– Приходите, пожалуйста, к восьми, – сказала администратор. – Играем во дворе, сейчас темнеет поздно. Только зонтик прихватите. Мало ли...

Она немного опоздала, во дворе все лавки были уже заняты публикой. Ее, однако, ждало место на огороженной скамеечке, где сидели несколько известных театральных личностей. Она перездоровалась со знакомыми, села и огляделась. Лавочки нарочито дворовые, обшарпанные, кое-кто сидел на шатких венских стульях. Все продумано – спектакль из советских пятидесятых-шестидесятых, играется на задах театра, в естественных декорациях московского двора, ничего и мастерить не надо. Здесь все осталось таким, каким было в



те годы. Глубокая арка в проходной двор, наружная железная лестница к квартирам во втором этаже, развешанное белье под окнами, кактус на подоконнике. Разве что на одну из стен дома нарочито вывесили старый гобелен.

Она достала из сумки очки, всмотрелась...

Точно такой тканый гобелен с бахромой висел над ее топчаном в родительской квартире на протяжении многих, многих лет. Точно такой гобелен – семья оленей, спустившихся к водопою, мельница на ручье, далекие зовущие горы и...

(Стоп! Не хватало еще описывать гобелен с бахромой, который фигурирует у всех без исключения писателей.)

Минут через десять стало смеркаться, зажглись два фонаря под ржавыми колпаками на покосившихся столбах, вышли актеры в кепках, тельняшках и бриджах, один с гитарой в руках, – началось действие.

Она никак не могла сосредоточиться. Вид гобелена, спутника ее детства и юности, вывешенного на всеобщее обозрение, мешал ей следить за актерами. Странное возникало чувство неудобства, смущения, словно вывесили на всеобщее обозрение твое исподнее... Она то отводила глаза, то, наоборот, вглядывалась пристальней, словно пыталась в сумерках разглядеть на нем подробности пейзажа или сравнить детали.

Вдруг вспомнился целый веер давно позабытых картинок.

Бабушка кормит ее кашей прямо в постели. Новенький гобелен на стенке, вернее, вышитые на нем персонажи присутствуют здесь весьма активно — и как декорации, и как участники действия... «Рот у Саши от-крыва-а-а-ется... ложка в ротик направля-а-а-ется... А ну-ка, а ну-ка, не дадим папе-олению, не дадим маме-оленихе, не дадим сыночку-оленку!»

Нет, вот этого перенести было невозможно — с полным ртом она вопила: «Дай!!! Дай лenenку!!!» Бабушкина крапчатая рука с ложкой послушно упиралась в гобеленовый куст, из которого торчала голова с ушками, затем мирно следовала в соседний, братски распяленный рот.

А потом, в школьные годы, как сладко было болеть под *ее*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.